

## Смешанные мнения и изречения

Фридрих Ницше

### Смешанные мнения и изречения

1

Обманувшимся философией. — Если вы до сих пор верили в высшую ценность жизни и теперь видите, что обманулись, то должны ли тотчас же считать жизнь ничтожной?

2

Избалованный. — Человек может избаловать себя ясностью понятий. Как отвратительно будет тогда иметь дело со всем смутным, туманным, помогаемым, предчувствуемым! Как смешны, и совсем не забавны, эти вечные порханья, хватанья при невозможности летать и ловить!

3

Искатели действительности. — Когда, наконец, человек заметит, как сильно и долго он заблуждался, то для утешения он заключает в свои объятия даже безобразнейшую действительность. Таким образом, эта последняя всегда, если рассматривать весь ход мировой истории в его целом, выпадала на долю самым лучшим искателям: ведь самые лучшие всегда были обмануты больше и дольше всех.

4

Прогресс свободомыслия. — Разницу между прежним свободомыслием и современным можно лучше всего уяснить себе, если вдуматься в то положение, для признания и выражения которого нужна была вся неустранимость прошлого столетия; и которое однако с современной точки зрения кажется невольной наивностью, я разумею положение Вольтера: «croyez-moi, топ ami, l'erreus aussi a son merite».

5

Первородный грех философов. — Философы во все времена присваивали себе выводы исправителей человечества (моралистов) и искажали их тем, что придавали им безусловное значение, желая доказать безусловную необходимость того, что моралисты считали только приблизительным указателем или даже местной и временной истиной известного десятилетия. Таким искажением философы думали именно возвыситься над моралистами. Так случилось, например, с основным положением знаменитого учения Шопенгауэра о преимуществе воли перед интеллектом, о неизменяемости характера, об отрицательном значении радости. — Все это в его понимании представляет сплошное заблуждение, а у моралистов простонародной мудростью. Уже одно слово «воля», которое Шопенгауэр переделал для общего определения многих человеческих состояний и которое он вставил в люк языка, послужило к великой выгоде его как моралиста, предоставляя ему полную свободу говорить о «хотении» так же, как Паскаль.

Эта «воля» Шопенгауэра была, говорю я, к несчастью для науки, искажена уже в руках ее творца, вследствие чрезмерного философского стремления к обобщению; так, утверждая, что все вещи в природе имеют волю, мы тем самым возводим эту волю в метафору. Пользуясь же ею при всевозможных мистических выходках, ею злоупотребляют до ложного овеществления. И все модные философы повторяют то же и делают вид, будто прекрасно знают, что все вещи имеют одну волю, что все они составляют как бы одну волю (а ведь, судя по представлению, которое имеется об этой единой и общей воле, в этом столько же смысла, как и в том, чтобы считать глупого черта за божество).

6

Против мечтателей. — Мечтатель скрывает истину от себя, лгун только от других.

7

Светобоязнь. — Если указать человеку на то, что он, строго говоря, не умеет никогда говорить об истине, но только о вероятностях и о их степени, то, по нескрываемой радости подобного человека, можно судить, как

дорога людям неопределенность их умственного горизонта, и как они в глубине души ненавидят истину, благодаря ее определенности. Не кроется ли причина этого в том, что они втайне боятся, как бы слишком ярко не осветил их когда-нибудь луч истины? А ведь все они хотят играть какую-нибудь роль и не потому ли не хотят, чтобы вполне знали, что они такое? Или же это только страх перед слишком ярким светом, к которому, как и у летучих мышей, так не привыкла их сумеречная, легко ослепляемая светом душа, что они поневоле ненавидят его?

8

Христианский скептицизм. — Пилата, с его вопросом, — что есть истина? — охотно выставляют теперь защитником Христа для того, чтобы возбудить сомнение на счет всего познанного и познаваемого и воздвигнуть крест на ужасном фоне «невозможности что-либо познать».

9

«Закон природы» — суеверное слово. — Говоря с таким восторгом о закономерности в природе, должно по крайней мере или допустить, что все явления в природе следуют своему собственному закону и без принуждения повинуются ему, и в таком случае, удивляться нравственности природы, или же, в противном случае, восхищаться представлением о механике, создавшем самые совершенные часы с живыми существами в виде украшения. Необходимость в природе, благодаря выражению «закономерность» становится более человеческой и является последним оплотом мифологических грез.

10

Отошедшее в область истории. — Туманные философы и обскуранты, иными словами, все метафизики высшего и низшего сорта, ощущают боль глаз, ушей, зубов, когда у них является подозрение в справедливости положения, утверждающего, что «вся философия отошла в область истории». Принимая в соображение их скорбь, им можно простить, что они забрасывают камнями и грязью всех, высказывающих подобное положение. Ведь со временем учение их и без того покроется позором, станет неприглядным и потеряет всякое значение.

11

Пессимист интеллекта. — Человек, истинно свободный духом, будет свободно рассуждать и о самом духе и не скроет от себя никаких ужасов в истории происхождения и развития духа. За это другие будут, вероятно, считать его самым злым противником свободомыслия и наделять его ругательным и страшным словом «пессимист интеллекта». Ведь они привыкли давать каждому кличку, обращая главное внимание не на силу и добродетель, а на то, что им наиболее чуждо в человеке.

12

Котомка метафизиков. — Не следует совсем отвечать тем, которые так важно говорят о научности своей метафизики; стоит только дернуть за котомку, которую они довольно робко скрывают за своей спиной; и если удастся приподнять ее крышку, то, к их стыду, выползут на свет результаты их научности; маленький любимый божок, может быть, немного спиритизма и, во всяком случае, целая куча убогой и грешной нищеты и фарисейского высокомерия.

13

Случайный вред познания. — Польза от безусловного исследования истины беспрестанно доказывается сотней различных способов, так что вред, приносимый отдельным личностям этим исследованием, слишком ничтожен и искупается с избытком. Нельзя предохранить химика от случайных отравлений и ожогов при его опытах. — Что применимо к химику, применимо ко всей нашей культуре; из этого, между прочим, следует, что культура должна тщательно заботиться о целительных мазях при ожогах и о постоянном запасе противоядий.

14

Потребности филистера. — Филистер считает наиболее необходимым украшаться пурпуровыми тряпками или тюрбаном из метафизики и не желает вовсе освободиться от них; между тем, без этого украшения он был бы менее смешон.

15

Мечтатели. — Тем, что мечтатели говорят в пользу своего учения или своего учителя, они только защищают самих себя, как ни стараются казаться судьями (а не обвиняемыми). Ведь постоянно и невольно все напоминает им, что они представляют собою исключения, которые должны узаконить себя.

16

Добро ведет к жизни. — Все хорошие вещи, даже всякая хорошая книга, направленная против жизни, являются сильным средством, возбуждающим к жизни.

17

Счастье историка. — «Когда мы слушаем остроумных метафизиков и мистиков, то чувствуем себя «нищими духом», но вместе с тем сознаем, что нам принадлежит прекрасное, вечно изменяющееся царство весны и осени, лета и зимы, а их царство — царство мистическое с его серыми, холодными, бесконечными туманами и тенями». Так рассуждал сам с собой во время прогулки в солнечное утро тот, у которого при изучении истории обновляется не только дух, но и сердце. В противоположность метафизикам, он счастлив тем, что в нем живет не одна бессмертная душа, но много смертных душ.

18

Три рода мыслителей. — Существуют троякого рода минеральные источники: бьющие ключом, проточные и вытекающие по каплям; соответственно этому бывают три рода мыслителей. Профан ценит их по количеству воды, знаток же по тому, что в них имеется помимо воды.

19

Картина жизни. — Задача нарисовать картину жизни, за которую так часто брались поэты и философы, является все-таки бессмысленной. Даже из рук самых великих художников-мыслителей выходили всегда только картины и картинки одной исключительной какой-нибудь жизни, а именно их жизни; — все же остальное было им невозможно. В преходящем преходящее не может отражаться как прочное и долговечное, как «бытие».

20

Истина не терпит идолов рядом с собою. — Вера в истину начинается с сомнения во все истины, в которые прежде верилось.

21

О чем требуется молчание. — Когда свободомыслие сравнивается с очень опасным путешествием по глетчерам и ледяному морю, то все, не желающие идти этим путем, чувствуют себя оскорбленными, как будто им ставят в вину их трусость и слабость их ног. Мы не допускаем, чтобы в нашем присутствии говорили о трудности, до которой мы не доросли.

22

.....

23

Неисцелимый. — Идеалист неисправим; сбросьте его с неба, он создаст себе идеал из ада. Стоит его разочаровать, и он с такою же страстностью бросается в объятия разочарования, с какою незадолго перед тем бросался в объятия надежды. Смотри по тому, насколько его влечение относится к великим неисцелимым влечениям человеческой природы, он может вносить трагизм в судьбу других, а позднее сам стать сюжетом для трагедий; как таковые эти трагедии имеют именно дело с неисцелимым, неустрашимым и неизбежным элементом в человеческом жребии и характере.

24

Одобрение как продолжение представления. — Плавающие взоры и благосклонная улыбка являются тем видом одобрения, которым награждается вся великая комедия мира и бытия, но в то же время комедией в комедии, которая должна других зрителей соблазнить к «*plaudite amici*».

25

Мужество в скуке. — Кто не имеет мужества считать себя и свое дело скучными, тот, конечно, не является первоклассным гением, будь то в искусствах или в науках. Шутник, который в виде исключения был бы и мыслителем, мог бы при созерцании мира и истории воскликнуть: «Зевес не имел подобного мужества; он пожелал сотворить все вещи слишком интересными и сотворил».

26

Из глубочайшего внутреннего опыта мыслителя. — Нет ничего труднее для человека, как постичь что-нибудь безлично: т. е. видеть в предмете только вещь, а не личность. Да и вообще еще вопрос: возможно ли человеку хотя бы на мгновение отделаться от первоначального стремления все олицетворять и во все вкладывать свойства своей личности. Даже с мыслями, как бы абстрактны они ни были, человек обращается как с личностями, с которыми необходимо бороться, сродниться, которых необходимо оберегать, лелеять, вскармливать. Подкараулим и подслушаем себя в те минуты, когда мы узнаем или находим новое положение. Оно может нам не понравиться, если слишком безусловно, слишком самостоятельно. И вот мы бессознательно задаем себе вопрос о том, нельзя ли подобрать рядом с этим положением противоположное ему в качестве врага или нельзя ли хотя бы прицепить к нему такие слова, как «может быть» или «иногда». Даже незначительное слово «вероятно» доставляет нам удовольствие, так как оно сокрушает тягостную для личности тиранию безусловного. Если же, наоборот, новое положение проскальзывает в более мягкой форме, тонко и скромно и тотчас же ослабляется противоречием, то мы выступаем с другим видом нашего самодержавия: как не придти на помощь этому слабому существу, не приласкать, не прикормить его, не придать ему силы и полноты, даже истинности и безусловности. Разве возможно отнестись к нему не по-родительски не по-рыцарски, без сострадания? Или же если мы встречаемся с двумя мнениями, далекими, чуждыми друг другу, то нас подмывает мысль, нельзя ли сочетать их, вывести из них заключение; при этом мы заранее чувствуем, что в случае, если из этого заключения выйдет следствие, то честь его будет не только принадлежать сочетаемым суждениям, но также и виновнику их сочетания. Если же при всем упорстве, недоброжелательстве или даже расположении ничего не имеешь против известной мысли, а считаешь ее истинной, то покоряешься ей и чувствуешь в ней своего властелина, отводишь ей почетное место и не иначе говоришь о ней, как возвышенно и гордо, ведь в ее блеске блистаешь и сам. Горе тому, кто захочет затемнить ее. Но наступает день, когда мысль кажется нам сомнительной; тогда мы, неутомимые «творцы царей» (King-makers) истории духа, низвергаем ее с трона и мигом возводим ее противника. Принимая это во внимание, мы можем идти в своих заключениях несколько дальше: именно никто не может говорить «о безотносительной склонности к познанию»; — почему же в этой тайной борьбе с олицетворенными мыслями, в этом большей частью остающимся скрытым брачном сочетании мыслей, в этом царстве мысли, в этом детском питомнике мысли, в этом попечительстве о бедных и больных, почему здесь всюду человек предпочитает истинное неистинному? Он это делает по той же причине, по какой соблюдает справедливость в своих отношениях к реальным личностям: теперь он это делает по привычке, по наследственности и по воспитанию, первоначально же потому, что истинное, как правильное и справедливое, полезнее и доставляет больше чести, чем неистинное. Ведь в царстве мысли могущество и слава, покоящиеся на заблуждении и лжи, неустойчивы: мысль, что подобное здание может вдруг рухнуть, действует подавляющим образом на самосознание его строителя. Он стыдится хрупкости своего материала и, считая себя более важным, чем остальной мир, не желает ничего творить менее долговечного, чем остальной мир. В погоне за истиной он бросается в объятия веры, в личное бессмертие, то есть в объятия самых высокомерных и смелых мыслей, с заднею мыслью: «*pergeat mundus, dum ego salvus sim*». Его творение сделалось его «Я». Он из себя создал нечто непреходящее, вечное, наперекор всему. Его безграничная гордость заставляет его пользоваться для постройки только самыми лучшими, самыми твердыми камнями, то есть истинами и всем, что он считает за таковые. Во все времена вполне справедливо считали высокомерие «пороком мудрецов», но без этого греховного побудительного мотива жалка была бы на земле истина с ее осуществлением. Мы страшимся наших собственных мыслей, понятий и слов, и вместе с этим чтим в них самих себя; мы невольно приписываем им силу награждать, презирать, хвалить и порицать нас; мы обращаемся, следовательно, с ними как с свободными духовными особами с независимыми силами, как равные с равными — и вот в том-то и коренится то поразительное явление, которое я назвал «интеллектуальной совестью». — Таким образом и здесь из мрачного корня вырастает мораль высшего порядка.

27

Обскуранты. — Суть мрачного искусства обскурантизма состоит не в том, что он желает затемнить умы, а в том, что он желает зачернить картину мира, наше представление о бытии. Правда, обскуранты для этого довольно часто прибегают к тому, что препятствуют просветлению духа, однако иногда употребляют совершенно противоположное средство и пытаются при помощи высшей утонченности интеллекта вызвать пресыщение к плодам его. Остроумные метафизики, подготавливающие скептицизм и вызывающие, благодаря своему чрезмерному остроумию, недоверие к самому остроумию, являются прекрасным орудием в руках утонченного обскурантизма. Возможно ли с этою целью пользоваться даже самим Кантом? — Хотя он сам одно время, по его собственному известному признанию, желал, по крайней мере, нечто подобное именно, когда старался проложить путь вере тем, что указывал знанию его пределы. Но достичь этого, конечно, не удалось ни ему, ни людям, следовавшим по волчьим и лисьим тропам этого крайне тонкого и даже самого опасного обскурантизма; так как здесь мрачное искусство выступает под оболочкой света.

28

Какой вид философии губит искусство. — Если облакам метафизическо-мистической философии удастся сделать непроницаемыми все эстетические феномены, то в результате последние становятся несравнимыми между собою, так как каждый из них делается необъяснимым. Если же их ни в коем случае нельзя сравнивать между собою при оценке, то под конец не может и быть никакой критики, а только слепое доверие; отсюда проистекает постоянное уменьшение наслаждения искусством (наслаждения, отличающегося от простого удовлетворения потребности крайним изощрением вкуса и способностью делать различие). Но чем более уменьшается наслаждение, тем более потребность в искусстве превращается в обычный голод, который художник пытается утолить все более и более грубой пищею.

29

В Гефсиманском саду. — Из всего, что может сказать мыслитель художнику, самое прискорбное — это повторить известные слова: «Не можете ли вы хотя бы час пободрствовать со мной».

30

За ткацким станком. — В противоположность тем немногим, которые находят наслаждение в том, чтобы распутывать узлы явлений и распускать их ткань, есть множество противодействующих им (например, все художники и женщины); они снова завязывают и запутывают их и таким образом превращают понятное в непонятное и, по возможности, в непонятное. Что из этого получается в дальнейшем? А именно все сотканное и запутанное неизбежно должно казаться нечистым, так как слишком много рук работает и тянет это.

31

В пустыне науки. — Человек науки зачастую встречает во время своих скромных и трудных странствований по пустыне блестящие воздушные явления, называемые «философскими системами». С волшебною силою обмана они указывают на находящееся вблизи разрешение всех загадок и на самый свежий источник истинной жизненной воды. Сердце радостно бьется; и усталый путник, касаясь почти губами цели своего научного мытарства, невольно стремится вперед. Правда, встречаются и другие натуры, которые, пораженные прекрасным обманом, стоят ошеломленные, и пустыня поглощает их; для науки они мертвы. Иные же, пережившие не раз подобные субъективные утешения, падают духом и проклинают соленый вкус, оставшийся во рту после таких миражей и вызывающий страшную жажду, хотя они ни на шаг не приблизились ни к какому источнику.

32

Так называемая «настоящая действительность». — Поэт, изображая людей разного рода профессий, например, полководцев, ткачей шелковых материй, моряков, производит такое впечатление, как будто он основательно знает все эти профессии и знаток в них. Излагая человеческие деяния и судьбы, он держит себя так, как будто присутствовал при том, как ткалась мировая сеть. Во всем этом он является обманщиком; но он обманывает только ничего не знающих. Они возносят ему похвалу за его неподдельное и глубокое знание и доводят его, наконец, до иллюзии, будто он действительно знает вещи так хорошо, как настоящий знаток и творец, даже как сам великий мировой паук. Таким образом, обманщик под конец становится честным и верит в свою правоту. Находящиеся под его влиянием люди говорят ему даже в лицо, что он владеет высшею правдою и истиною; ведь они временно утомлены действительностью и воспринимают поэтические грезы, как благодетельный отдых, как ночной покой ума и сердца. Его грезы для них теперь особенно ценны, так как в силу вышесказанного они кажутся им еще более благотворными; а ведь люди всегда думали, что все, кажущееся более ценным и есть и

наиболее истинное, наиболее действительное. Поэты, сознающие в себе эту силу, умышленно стараются обесчестить то, что обыкновенные смертные считают действительностью, пытаясь все это представить неверным, кажущимся, ложным, полным погрешностей, скорби и обмана. Они пользуются всяким сомнением относительно пределов познания, всякой скептической выходкой для того, чтобы прикрыть все вещи сборчатым покрывалом неуверенности; и чтобы затем, когда наступит затемнение, их волшебство и магическое влияние на души считалось бесспорным путем «к истинной правде» и к настоящей действительности.

33

Желание быть справедливым и быть судьей. — Шопенгауэр при его обширном знакомстве с «человеческим, слишком человеческим» и при его первоначальном понимании смысла явлений, чему немало однако вредила пестрая леопардовая шкура его метафизики (которую необходимо сначала содрать с него, чтобы раскрыть под нею истинного гения — моралиста), указывает на прекрасное различие, благодаря которому он более остается прав, чем сам сознает. «Разумение строгой необходимости человеческих поступков, — говорит он, — является той пограничной линией, которая отделяет философские умы от нефилософских». Однако он сам противоречил этому великому взгляду, к которому по временам был склонен, противоречил, следуя предрассудку, общему ему и людям морали (но не моралистам) и о котором он вполне безобидно и с полным доверием выражается так: «Последнее и истинное заключение о внутренней сущности вещей в их целом должно необходимо находиться в тесной связи с заключением об этической важности человеческих поступков». Но это-то именно и не «необходимо», а наоборот, устраняется положением о строгой необходимости человеческих поступков, т. е. о безусловной несвободе воли и неотвеченности. Философские головы отличаются от нефилософских тем, что не верят в метафизическое значение морали: и это различие должно служить между ними пропастью, о глубине и непроходимости которой едва ли дает понятие существующая в настоящее время и столь оплакиваемая пропасть между «образованными» и «необразованными» людьми. Необходимо, конечно, признать вполне бесполезными некоторые выходы, оставленные «философскими головами», в том числе и Шопенгауэром: ни один из них не ведет к свободе, на простор свободной воли; каждый ход, через который удавалось до сих пор проскользнуть, открывает лишь снова все те же вечные непроходимые стены судьбы. Мы находимся в тюрьме; мы можем только свободно мечтать, но не действовать.

Невозможность дальнейшего противодействия признанию этого доказывают отчаянные и невероятные позы и корчи тех, которые еще восстают и продолжают вести борьбу. — В настоящее время ход их мыслей приблизительно таков: «Итак, ни один человек не ответствен? И однако все полны чувства вины? Должен же быть кто-нибудь виновником: если невозможно и непозволительно обвинять и осуждать отдельную личность, несчастную волну в необходимой игре волн бытия, то виновницей должна быть сама игра волн, само бытие; в нем кроется свободная воля; против него необходимо выступить с обвинением, с осуждением, с требованием покаяния, искупления: виновницей тогда является всемирная история, с своим самоосуждением и самоубийством, и злодей, таким образом, должен быть собственным судьей, судья — собственным палачом». Таков последний вывод из борьбы учения о безусловной нравственности с учением о безусловной несвободе; он был бы ужасен, если бы представлял нечто большее, чем логическую гримасу, чем отвратительную ужимку побежденной мысли, если бы он был борьбою на смерть отчаявшегося и ищущего спасения сердца, которому безумие нашептывает: «Смотри, ты, агнец, носящий грехи бытия». — Ошибка лежит не только в чувстве «я ответствен», но также и в противоположном ему чувстве: «Не я виновен, но кто-нибудь другой должен быть виновен». Это-то именно не верно. Философ, следовательно, должен сказать подобно Христу «не судите!», и последнее отличие философских умов от нефилософских лежит в том, что первые хотят быть справедливыми, последние же — судьями.

34

Самопожертвование. — Вы думаете, что признаком морального поведения является самопожертвование? Но подумайте только, разве при всяком поступке, как самом плохом, так и самом хорошем, если только он совершается обдуманно, не бывает самопожертвования.

35

Против ложных исследователей нравственности. — Необходимо знать самое лучшее и самое худшее, на что способен человек в мыслях и делах, чтобы судить, как сильна его нравственная природа и что из нее будет. Но определить это невозможно.

36

Змеиное жало. — Есть ли в нас змеиное жало или нет, обнаруживается тотчас, когда на нас наступят. Женщина

или мать сказала бы, когда наступят на любимого нами человека или на нашего ребенка. Наш характер определяется больше потребностью в известных приключениях, чем тем, что переживается.

37

Обман в любви. — Человек забывает кое-что из своего прошлого и делает это с умыслом; именно, нам хочется, чтобы наш образ, освещающий нас светом прошлого, обманывал нас, ласкал наше самомнение — и мы постоянно трудимся над этим самообманом. Вы, так много говорящие и кричащие о «самозабвении в любви», о «возвышении своего я в другой личности», неужели вы думаете, что это не то же самое? И вот, человек разбивает зеркало, поэтизирует из себя другую личность, которой он восхищается и в которой наслаждается новым видом своего я, под именем другой личности; но весь этот процесс — разве не самообман, разве не самообожание? Я думаю, что люди, скрывающие от себя что-либо из своего прошлого и скрывающие от себя всего себя, — сходятся в том, что грабят из общей сокровищницы познания. Отсюда ясно, от какого преступления предостерегает изречение «познай самого себя».

38

К людям, отрицающим в себе тщеславие. — Кто отрицает свое тщеславие, тот обыкновенно обладает им в такой грубой форме, что инстинктивно закрывает перед ним глаза, чтобы по необходимости не презирать самого себя.

39

Почему глупые так часто злы. — Когда наша голова бессильна отвечать на возражения противника, на них отвечает наше сердце и отвечает критикой мотивов возражений.

40

Искусство моральных исключений. — Есть искусство, указывающее и прославляющее исключения нравственности (там именно — где дурно добро и несправедлива справедливость) и отводящая им первое место. Нужно прибегать к этому искусству по возможности редко, и так же, как покупая или продавая что-нибудь цыганам необходимо опасаться — чтобы не лишиться больше того, что сам приобрел.

41

Приятное и неприятное в яде. — Единственный решительный аргумент, удерживавший во все времена людей от принятия яда — был не тот, что он убивает, а что у него неприятный вкус.

42

Мир без чувства греховности. — Если бы люди совершали только поступки, не вызывающие никаких угрызений совести, то человеческий мир все же казался бы достаточно дурным и обманчивым, хотя и не таким болезненным и жалким, как теперь. — Всегда было достаточно дурных людей, не испытывавших угрызений совести, и многим хорошим и мужественным чистота совести не доставляла наслаждения.

43

Совестливые люди. — Следовать голосу своей совести удобнее, чем голосу рассудка; ведь при дурном исходе у совести найдется всегда оправдание и утешение. Потому-то так много совестливых людей и так мало разумных.

44

Противоположные средства скрашивать горечь существования. — При одном темпераменте полезно изливать свою досаду в словах: через это она смягчается. Человек же с другим темпераментом только при подобном излиянии чувствует всю горечь досады; и для него полезнее поэтому сдерживать себя: всевозможные насилования над собой перед врагом, начальством, улучшают характер таких людей и предохраняют его от излишней резкости и горечи.

45

Не браться за трудное. — Хотя лежать на боку неприятно, однако это не опровергает пользы лечения, при

котором предписывается больному лежать в постели. Люди, долго жившие не личной жизнью, но затем обратившиеся к философскому самосозерцанию, знают также, что и для духовной жизни существует лежание на боку. Это вовсе не аргумент в пользу известного образа жизни, но указывает на необходимость некоторых незначительных исключений и отступлений.

46

Человеческая «вещь сама в себе». — Самое уязвимое, но и самое непобедимое — это человеческое тщеславие; от ран растет его сила и может, наконец, достигнуть чудовищных размеров.

47

Досуг многих трудолюбивых людей. — Люди эти вследствие избытка энергии страдают в свободное время и в конце концов не находят ничего лучшего как употреблять свой досуг на то, чтобы считать, сколько часов его еще остается.

48

Испытывать много радостей. — Испытывающий много радостей должен быть хорошим человеком. Но он может быть и не самым мудрым, хотя и обладает тем, к чему мудрецы стремятся всеми силами.

49

В зеркале природы. — Разве не достаточно ярко очерчен человек, когда про него говорят, что он с удовольствием бродит по высоким золотистым нивам, что он больше всего предпочитает осеннюю окраску лесов и цветов, придающую всему красновато-огненный цвет, что он под высоким орешником с жирной листвой чувствует себя, как дома среди родных, что верх счастья для него — увидеть небольшое отдаленное озеро, манящее его прелестью уединения, что он любит седое спокойствие туманных вечерних сумерек, проникающих осенью и ранней зимой в окна, защищенные от бездушного шума бархатными шторами, что он в первобытной горной природе видит сохранившегося свидетеля старины и чтит его, как ребенок, что для него всегда чуждо было и будет море с его вечно переливающейся змеиной чешуей и с красотой хищного зверя? Да, этим отчасти характеризуется человек, но зеркало природы ничего не говорит о том, что этот человек при всей своей идиллической восприимчивости (и даже «несмотря на нее») может быть жесток, скуп и надменен. Гораций, понимавший это, вложил в уста римского ростовщика самые нежные чувства влечения к сельской жизни «*beautus ille qui procul negotiis*».

50

Сила без победы. — Даже самое мощное познание (полной несвободы человеческой воли) все же самое жалкое по результатам. Оно всегда имеет сильнейшего противника в образе человеческого тщеславия.

51

Удовольствие и заблуждение. — Одни радуются бессознательно всему, другие же сознательно своим отдельным поступкам. Хотя первая радость и выше, однако только во второй добрая совесть связана с наслаждением — именно с наслаждением, порождаемым ханжеством, основанным на вере в свободу наших добрых и злых дел, т. е. на заблуждении.

52

Глупо поступать несправедливо. — Гораздо труднее переносить несправедливость, причиненную нам, чем нашу несправедливость по отношению к другим (хотя это вытекает не из моральных оснований). Наносащий несправедливость всегда является страдающим лицом, если он боится или угрызений совести, или что за подобные поступки вооружится против него общество и отшатнется от него. Поэтому и следует больше остерегаться наносить обиды, нежели страдать от них, уже ради личного своего счастья, чтобы не наносить ущерба своему спокойствию, независимо от всех требований религии и морали. Переносить несправедливость легче; в этом случае находишь утешение в спокойной совести, в надежде на мщение, в сострадании и сочувствии справедливых людей и всего общества, для которого страшен подобный злодей. — Лишь немногие сознают всю нечистоплотность их ухищрений; обыкновенно же большинство перечеканивает собственную несправедливость, находит оправдание для своих поступков в исключительном праве личной обороны, чтобы, таким образом,



гораздо легче переносить тягость несправедливости.

53

Зависть с мундштуком и без него. — Обыкновенно зависть любит кудяхтать, подобно курице, снесшей яйцо; она этим облегчает и смягчает себя. Но существует и более глубокая зависть, хранящая мертвое молчание, желая чтобы каждый рот был зажат и становящаяся все яростнее по мере того, как не может этого добиться. Немая зависть растет в молчании.

54

Гнев в роли шпиона. — Гнев раскрывает душу человека и обнажает самые сокровенные тайники ее. Поэтому, если вам не ясны окружающие вас люди, ваши приверженцы и противники, то нужно суметь возбудить в них гнев, и тогда легко узнать, что они замышляют против вас и думают об вас.

55

С моральной стороны защита труднее нападения. — Истинно геройский и образцовый поступок хорошего человека состоит не в том, чтобы нападать на возражение противника и его самого продолжать любить, а в нечто более трудном — защищать свое собственное дело, не причиняя и не желая причинять страданий нападающему на него. Меч нападения честен и широк, меч же защиты — часто напоминает иглу.

56

Честность по отношению к честности. — Тот, кто открыто честен по отношению к себе, под конец знает цену честности, так как отлично понимает, что он честен потому, почему другие люди предпочитают казаться и притворяться честными.

57

Раскаленные уголья. — Собирать на голову другого раскаленные уголья обыкновенно ложно понимается и не удается, так как и этот другой в равной степени сознает свои права и может со своей стороны тоже позаботиться о том, чтобы насобирать побольше угольев.

58

Опасные книги. — Иногда говорят: «Я знаю по себе, что эта книга вредна». Однако стоит несколько повременить, и высказавший это, быть может, сам признает, что эта книга сослужила ему большую службу, обнаружив скрытый до тех пор недуг его сердца. — Изменение взглядов не меняет характера человека (или изменяет совсем мало); но оно уясняет ему отдельные стороны его личности, которые оставались скрытыми и неузнанными при ином сочетании суждений.

59

Лицемерное притворное сострадание. — Желая показать себя выше чувства неприязни, человек выказывает лицемерное сострадание; но, обыкновенно, совершенно напрасно, так как оно заметно, и враждебное чувство еще более усиливается.

60

Откровенное возражение часто примиряет. — Когда кто-нибудь открыто дает понять свое несогласие с учением знаменитого вожака или учителя, то весь мир думает, что он раздражен на них. Но иногда именно от этого и проходит раздражение: он отваживается поставить себя рядом с ними и освобождается от мучений скрытой ревности.

61

Видеть свой свет светящимся. — В мрачном состоянии печали, болезни, сознания своей виновности мы радостно замечаем, если освещаем еще других и служим им блестящим лунным диском. Так свет в нас светит и нам.

62

Сорадование. — Змея, ужалив нас, думает, что причиняет нам боль и радуется этому; самое низкое животное может представить себе чужую боль. Но представить себе чужую радость и радоваться ей — есть преимущество самых высших животных и даже среди них только исключительных особей, а стало быть, это чувство есть по преимуществу человеческое, так что были даже философы, отрицавшие эту способность сорадования.

63

Продолжающаяся чреватость. — Люди, непонятным для них образом закончив свои творения или дела, продолжают быть еще более чреваты ими, как бы для того, чтобы доказать, что это — дети их, а не случая.

64

Черствость сердца от тщеславия. — Как справедливость часто служит покровом слабости, так и обратно: люди справедливые, но слабые, часто прибегают из тщеславия к притворству, умышленно поступая жестоко и несправедливо, чтобы придать себе вид твердости.

65

Унижение. — Найдя в оказанных ему полезных услугах крупницу унижения, человек с притворством делает недовольную мину.

66

Крайнее геростратство. — Могут, пожалуй, встретиться и такие Геростраты, которые способны сжечь воздвигнутые в честь их храмы, в которых чтят их изображение.

67

Мир уменьшительных слов. — То обстоятельство, что все слабое и нуждающееся в помощи близко нашему сердцу, является источником привычки, в силу которой мы всё, что принимаем близко к сердцу, обозначаем уменьшительными и ласкательными именами и представляем себе слабым и нуждающимся в помощи.

68

Вредная сторона сострадания. — Состраданию сопутствует своего рода бесстыдство; если оно желает непременно помочь, то не смущаясь ни средствами для излечения, ни свойством и причиной болезни, смело шарлатанит над здоровьем и над доброй славой пациента.

69

Наглость. — Существует наглость и по отношению к произведениям; относиться запанибрата без всякого уважения к величайшим произведениям всех времен уже доказывает полное отсутствие стыда. Другие же наглы по невежеству; они не знают, с кем имеют дело; так нередко поступают старые и молодые филологи по отношению к произведениям древних греков.

70

Воля стыдится интеллекта. — Мы с полным хладнокровием строим разумные планы против наших аффектов, но тут же впадаем в грубейшую ошибку, так как очень часто в тот самый момент, когда наш план должен быть приведен в исполнение, начинаем стыдиться того хладнокровия и той рассудительности, с какими он был составлен. И таким образом поступаем неразумно именно в силу своего рода упорного великодушия, сопутствующего каждому аффекту.

71

Почему скептики не нравятся приверженцам морали. — Кто свою нравственность ценит высоко и достиг ее с трудом, тот негодует на скептиков в области морали; во что он вложил все свои силы, тому должно удивляться,

но нельзя этого ни исследовать, ни подвергать сомнению. — К тому же есть люди, весь остаток нравственности которых и состоит именно в этой вере в мораль; они относятся к скептикам еще с большим негодованием, если это возможно.

72

Робость. — Все моралисты робки, так как знают, что их смешают с шпионами и предателями, как только заметят их склонность, к тому же они вообще сознают свое бессилие в делах; ведь начав какое-нибудь дело, они все свое внимание сосредоточивают не на нем, а на мотивах своей деятельности.

73

Опасность, свойственная вообще нравственности. — Люди, одновременно благородные и честные, ухищряются обожествлять всякую чертовщину, высиженную их честностью, и в течение известного времени сохранять уравновешанными чашки весов их нравственных суждений.

74

Самое горькое забуждение. — Невыносимо оскорбительно найти, что там, где ты был уверен, что тебя любят, тебя считали только мебелью и украшением, которыми хозяин дома мог тщеславиться перед гостями.

75

Любовь и двойственность. — Что такое любовь, как не понимание и не наслаждение тем, что человек иным и противоположным способом, чем мы, живет, действует и чувствует? Чтобы любовь радостно соединяла эти противоположности, она не должна их уничтожать или отрицать. — Даже в себялюбии заключается эта несмешиваемая двойственность (если не множественность) в одной и той же личности, как предположение.

76

Выяснение путем сновидений. — То, что порой человек в бодрственном состоянии точно не знает и не чувствует, напр., чиста ли совесть у него по отношению к известному человеку или нет, вполне определенно выясняется ему во сне.

77

Распутство. — Мать распутства не радость, а отсутствие ее.

78

Наказание и награда. — Никто не жалуется без задней мысли о наказании и мщении — даже когда жалуются на судьбу или на себя. Всякая жалоба есть обвинение, всякая радость — похвала. И в наших радостях и огорчениях мы всегда считаем кого-нибудь ответственным.

79

Двойная несправедливость. — Мы между прочим уясняем истину путем двойной несправедливости в тех именно случаях, когда, не имея возможности разом охватить обе стороны предмета, мы рассматриваем и представляем их одну за другой, но так, что каждый раз мы или не признаем или отрицаем другую сторону, воображая, что та сторона, которую мы видим, и есть полная истина.

80

Недоверие. — Недоверие к себе не всегда бывает неопределенно, а потому робко, иногда оно яростно до безумия; в последнем случае оно опьяняет себя, чтобы не дрожать.

81

Философия parvenu. — Если хочешь быть особой, то нужно охранять честь и свои тени.

82

Уметь чисто мыться. — Нужно научиться выходить более чистым из нечистых обстоятельств и в случае нужды мыться грязной водой.

83

Не стесняться. — Чем меньше человек не стесняется, тем больше его стесняют другие.

84

Невинный подлец. — Есть медленный и постепенный путь, ведущий к пороку и ко всякого рода подлости. В конце этого пути люди, идущие по нем, уже не чувствуют даже мурашек от угрызений совести, и такой человек, став вполне подлецом, шествует в полной невинности.

85

Строить планы. — Строить планы и вдохновляться благими намерениями доставляет много отрадных минут. И человек, у которого хватило бы сил всю жизнь строить планы, был бы очень счастлив; но если ему случается оторваться от этих планов и привести один из них в исполнение — то он тотчас же испытывает досаду и недовольство.

86

При помощи чего мы видим идеал. — Каждый деятельный человек погружен в свою деятельность и не может из-за нее свободно смотреть на мир. Если б он не обладал известной долей недостатков, то в силу свойственной ему добродетели не мог бы достигнуть духовно-нравственной свободы. Наши недостатки являются теми глазами, которые помогают нам видеть идеал.

87

Нечестная похвала. — Нечестная похвала причиняет гораздо больше угрызений совести, чем нечестное порицание, вероятно, потому только, что слишком сильная похвала гораздо больше обнаруживает нашу слабость суждения, чем даже несправедливое порицание.

88

Безразлично, как умирать. — Как человек в течение всей жизни и преимущественно в расцвете сил думает о смерти, конечно, отлично обрисовывает то, что мы называем его характером; но его смертный час и то, как он проведет последние минуты на смертном одре, безразличны в этом отношении. Истощение угасающей жизни, когда умирают старые люди, неправильное или недостаточное питание мозга за время, предшествующее смерти, иногда очень сильные страдания, страх неизвестности ввиду смерти — все это не дает нам возможности судить о человеке по последним минутам его жизни. Да, вполне несправедливо мнение, будто человек, умирая, искреннее и честнее, чем был при жизни; торжественность окружающей обстановки, сдерживаемые или нескрываемые потоки слез и чувств соблазняют почти каждого умирающего сознательно или бессознательно играть тщеславную роль. Серьезность, с какой относятся к умирающему, доставила иным жалким и всеми презираемым существам самое изысканное наслаждение, испытанное ими в жизни и в своем роде вознаграждение за испытанные ими оскорбления и лишения.

89

Обычай и жертва его. — Обычай основывается на двух положениях: во-первых, на том, что «община важнее отдельного лица», и во-вторых, что «продолжительная выгода выше скоропреходящей»; отсюда, как следствие, вытекает, что продолжительная выгода общины должна стоять безусловно выше выгоды отдельного лица, его временного благополучия и даже всей его жизни. Пусть отдельная личность страдает, болеет и даже погибает от обычая, — жертва должна быть принесена, и обычай сохранен, если от этого зависит благополучие общины. Конечно, этот взгляд только возникает у тех, которым не приходится быть жертвами обычая; жертвы же последнего в свою очередь полагают, что отдельное лицо может быть важнее общины, что наслаждение данной минуты, одно мгновение в раю может быть выше бесцветного существования, хотя бы продолжительного и чуждого страдания. Но эта философия жертвенного животного всегда возвышает свой голос слишком поздно,

оттого-то остаются в силе обычаи и нравственность, как совокупность всех обычаев, в которых воспитан и живет человек — и воспитан не как отдельное лицо, но как член целого, как единица большинства. Вследствие этого отдельное лицо в силу своей нравственности сплошь и рядом считает себя представителем большинства.

90

Благо и хорошая совесть. — Подумайте, всегда ли все хорошее было соединено с чистой совестью? Например, наука, несомненно вещь очень хорошая, вступила в свет без всяких триумфов, а скорее тайком, обходными путями, прикрываясь, маскируясь, подобно преступнице или, по меньшей мере, контрабандистке. — Чистая совесть всегда имеет своим преддверием дурную, и отнюдь не является противоположностью последней: ведь все хорошее, пока ново, непривычно, противно обычаю, считается безнравственным и, подобно червю, точит сердце счастливого изобретателя.

91

Результат оправдывает намерение. — Человек не должен останавливаться перед путем, ведущим к добродетели, хотя бы он ясно сознавал, что его к этому побуждают эгоистические мотивы: польза, личная выгода, страх, забота о здоровье и о хорошей славе, честолюбие. Правда, мотивы эти считаются низкими и эгоистическими. Но раз они ведут к добродетели, напр., к отречению, сознанию долга, порядку, бережливости, умеренности и аккуратности, то нужно прислушиваться к ним, какими бы эпитетами их ни наделяли! Если человек достигает того, к чему побуждают его эти мотивы, то достигнутая им добродетель облагораживает мотивы поступков; ведь она позволяет дышать чистым воздухом, доставляет душевное довольство; впоследствии мы совершаем те же поступки, но не из тех же грубых мотивов, которые привели нас к ним. Потому-то еще в детстве надо прививать человеку добродетели, подходящие к его натуре: привитая добродетель, подобно летнему солнечному воздуху души, уже сделает свое дело и принесет зрелые и сладкие плоды.

92

.....

93

Впечатление от верующих и неверующих людей. — Очень верующий человек должен служить для нас предметом уважения, точно так же, как и неверующий, но вполне искренний и откровенный. С неверующими мы чувствуем себя как бы стоящими на вершине высокой горы, где зарождаются самые мощные потоки; а с верующими мы как будто находимся под сенью тенистых деревьев, полных сока и покоя.

94

Юридические убийства. — Два самые важные юридические убийства в мировой истории являются, несомненно, замаскированными и хорошо замаскированными самоубийствами. И в обоих случаях людям хотелось умереть, и в обоих случаях было допущено, чтобы человеческая несправедливость пронзила им грудь своим мечом.

95

«Любовь». — Самое сильное понятие в христианской религии, возвышающее ее над остальными религиями, выражено одним словом: любовь. В слове любовь есть столько многозначительного, возбуждающего и вызывающего воспоминания и надежду, что даже самый низший интеллект и самое холодное сердце чувствуют обаяние этого слова. Самая рассудительная женщина и самый обыкновенный мужчина вспоминают при этом бескорыстные минуты своей совместной жизни, даже если Эрос играл в ней изменчивую роль. Бесчисленное количество людей, которые чувствуют недостаток любви, дети, влюбленные, особенно люди низшего сословия, обретают любовь в христианстве.

96

.....

97

.....

Притворство и искренность неверующих. — Ни одна книга не говорит так много и так горячо о том, что благотельно для человека (счастье в мечтательной вере, готовой к жертвам и смерти, признание «истины» — конечной истиной), как книга о Христе. Из нее мудрец может почерпнуть все средства, с помощью которых можно создавать мировые книги, источник радости для каждого; первое средство для этого заключается в том, чтобы излагать все как уже найденное, но не как отыскиваемое и неизвестное. Все самые влиятельные книги производят такое впечатление, будто в них открыты самые далекие умственные и нравственные горизонты, будто в них указано озаряющее солнце, вокруг которого вращаются и будут вращаться все теперешние и будущие светила. — В силу этих причин, разве может производить чисто научная книга такое сильное впечатление; разве не суждено ей оставаться приниженной среди приниженных, и в заключение быть распятой для того, чтобы никогда не воскреснуть? Разве не бедны духом подобные книги в сравнении с теми, в которых благовествуют благочестивые люди о своем «знании», о своем «святом» духе? Может ли хоть одна религия требовать от человека большего углубления в нее, совершенного отречения от собственного «я», как того требует наука? — Так или подобно этому, но во всяком случае с некоторым притворством могли бы мы оправдываться перед верующими: ведь едва ли возможно оправдываться без некоторого притворства. Между собой мы можем говорить искреннее, так как мы пользуемся тою свободой, которой верующие не могут допустить в собственных интересах. Итак, долой маски отречения, мины отчаяния! Пусть громче и увереннее звучит наша истина! Если бы наука не основывалась на наслаждении познания, на пользе от познанного, зачем была бы она нам? Если бы вера, надежда, любовь хоть немного не приводили нашу душу к познанию, то что же влекло бы нас к науке? Хотя наше «я» в науке — ничто, однако изобретающее, счастливое «я», всякое честное и трудящееся «я» имеет очень большое значение в республике ученых: уважение уважающих, радость тех, к кому мы благоволим и кого ценим, а иногда слава, бессмертие личности — вот достигаемые награды за это самоотречение; о меньших надеждах и наградах мы здесь умалчиваем, хотя именно из-за них большинство обыкновенно присягало и присягает законам этой республики и науке вообще. Если бы мы не оставались до некоторой степени невеждами, то какой бы интерес был у нас исключительно к науке! Все уже всюду найдено и выражено гладко, кругло, совершенно: для чисто умозрительного познания знание не имело бы цены. — От благочестивых и верующих мы отличаемся не качеством, но количеством веры и скромности. Мы довольствуемся меньшим. Если они скажут нам — будьте же довольны и ведите себя, как подобает довольным, то мы легко можем ответить им: «Действительно, мы не причисляем себя к самым недовольным! Но вы, если ваша вера доставляет вам блаженство, держите себя, как подобает блаженным...»

Поэт — как путеводитель будущего. — Вместо того, чтобы рисовать настоящее и оживлять прошедшее, поэзия должна стать путеводительницей будущего; к этой-то цели следовало бы направить целиком весь излишек сил поэтического творчества, еще живущих в современном человечестве и не посвященных преобразованию жизни. — При этом художник не должен уподобляться фантазеру-экономисту, придумывающему для народов и обществ лучший строй. Нет, подобно тому, как прежде художник создавал изображения богов, теперь ему следовало бы работать над прекрасными человеческими образами, отыскивая их в современном мире действительности. Не уклоняясь от действительности, он выбирал бы только те сюжеты, в которых возможно проявление прекрасной, великой души; своим образам он придавал бы гармоническую правильную форму; — тогда, с развитием соревнования, появились бы прочные образцы, помогающие изображать будущее. Произведения подобных художников отличались бы тем, что были бы предохранены от атмосферы страстей — от изображения непоправимых поступков, больного тела, язвительного смеха и скрежетанья зубов; весь этот трагикомизм стал бы грубым, неуклюжим архаизмом в сравнении с новым искусством. В новых образах и сюжетах преобладали бы сила, доброта, мягкость, чистота, непринужденная и врожденная умеренность; ровная почва придавала бы ногам спокойное довольство; светлое небо отражалось бы на лицах и событиях; знание и искусство составили бы одно целое; дух без всякого высокомерия и зависти жил бы в согласии со своей сестрой-душой: контраст придавал бы им не нетерпимость и разлад, но грацию и серьезность. Все это было бы законченным золотым фундаментом, а тонкие различия в воплощенных идеалах давали бы действительную картину растущего человеческого величия. Еще Гёте сделал некоторую попытку в этом направлении; но для этого необходим лучший путеводитель, одаренный прежде всего большими способностями, чем теперешние поэты; ведь они, несомненно, изображают каких-то недоразвившихся, неумеренных полуживотных.

Муза в роли Пентезилеи. — «Лучше истлеть, чем быть непривлекательной женщиной». — Когда подобные мысли приходят к уму музы, то значит близок конец ее искусству. Но кроме трагического исхода бывает и

комический.

101

Обходный путь к красоте. — Красота и все, доставляющее удовольствие, — одно и то же, так пели некогда музы; и, действительно, полезное очень часто бывает необходимым обходным путем к красоте. Потому-то мы можем с полным правом пренебрегать близоруким недовольством нетерпеливых людей, думающих, что можно достигнуть хорошего и без обходных путей.

102

В оправдание некоторых провинностей. — Неустанное желание творить и вглядываться во внешний мир — препятствует художнику совершенствоваться, иными словами, творить себя. Его произведения становятся красивее, совершеннее, и он сам старается выказывать себя более красивым и великим, благодаря врожденному честолюбию и тщеславию. Однако он обладает определенным запасом сил: и если он затратил часть их на себя, то это без пользы для своих произведений — и наоборот.

103

Удовлетворять лучших людей. — Человек, удовлетворяющий своим искусством лучших людей своего времени, не удовлетворит им лучших людей будущего. «Живешь для всех времен» — подобное одобрение лучших людей упрочивает славу.

104

Из одного и того же материала. — Человек, узнающий себя в каком-нибудь произведении литературы или искусства, полагает, что оно должно быть прекрасно, и оскорблен, если другие находят такое произведение плохим, слащавым, хвастливым.

105

Язык и чувства. — Что в языке нет слов для выражения наших чувств, видно из того, что все простые люди совестятся выражать словами самые глубокие и сильные свои чувства; они их обнаруживают только своими поступками и даже краснеют, если им кажется, что посторонний угадывает мотивы их поступков. Язык чувств у самых благородных поэтов — хотя поэты вообще не наделены особенной стыдливостью — более скромнен и сдержан, между тем как настоящие певцы нежных чувств и в практической жизни бывают довольно нескромны.

106

Заблуждение относительно лишений. — Кто не отвык давно и вполне от своего искусства и всегда следит за его развитием, тот не может представить себе, как мало лишений испытывает человек, живущий совершенно без этого искусства.

107

Три четверти силы. — Только такое произведение кажется нам вполне уравновешенным, на которое творец затратил не более трех четвертей своей силы. Если же он напрягал все силы, то оно волнует зрителя и пугает его своей натянутостью. Во всем хорошем замечается что-то ленивое, напоминающее лежащих на лугу коров.

108

Выпроваживать голод, как незванного гостя. — Так как самое изысканное кушанье кажется голодному не лучше самой грубой пищи, то взыскательный художник не станет приглашать к своему столу голодного.

109

Жить без искусства и вина. — С произведениями искусства бывает то же, что и с вином. Лучше всего не нуждаться ни в том ни в другом, употреблять одну воду и собственным внутренним огнем и внутренней сладостью души превращать ее в вино.

Гений-грабитель. — Гений-грабитель в искусстве, умеющий обманывать даже проницательные умы, создается из лиц, бесцеремонно присваивающих себе с юных лет все хорошее за исключением разве того, что по праву собственности принадлежит определенному лицу. Но все хорошее, созданное умами прошлых времен, собранное и благоговейно охраняемое немногими, понимающими им цену, есть достояние всех. И вот гений-грабитель, не обращая внимания на этих стражей, с бесстыдством присваивает себе это достояние прошлого. И сокровища эти снова вызывают восторг и благоговение.

К поэтам больших городов. — Заметно, что цветники нынешней поэзии находятся по соседству с клоаками больших городов: к благоуханию цветов примешивается нечто такое, что отдает порчей и гнилью. С грустью спрашиваю вас: неужели вам нельзя не звать к себе в кумовья грязные и плоские остроты, когда вы празднуете крестины прекрасного, ни в чем неповинного чувства? Разве вы непременно должны надевать на свою благородную богиню шутовской или бесовский колпак? Почему эта потребность, эта необходимость? А потому, что вы живете слишком близко к клоакам.

Соль речи. — Никто еще не объяснил, почему греческие писатели, несмотря на неимоверное богатство и силу своего языка, так скупы, что всякая книга, написанная впоследствии, кажется нам полна яркости, пестроты, высокопарности. Говорят, что в полярных и тропических странах потребление соли невелико, в равнинах же и на морских побережьях средних широт оно развито больше всего. Не благодаря ли более холодному и ясному интеллекту, но зато и несравненно более страстному темпераменту, чем у нас, греки не нуждались в таком количестве соли и пряностей, как мы?

Самый свободный писатель. — Как в книге, предназначенной для свободных духов, не упомянуть о Лоуренсе Sterne, которого Гёте считал самым свободомыслящим человеком своего времени? Пусть он удостоится здесь чести называться самым свободным писателем всех времен, в сравнении с которым все другие кажутся неуклюжими, нетерпимыми, мужицки грубыми и прямолинейными. Его приходится восхвалять не за ясную, законченную, а за бесконечную мелодию, если можно так назвать искусственный слог, в котором определенная форма беспрестанно прерывается, сдвигается, переводится обратно в неопределенную форму, так что можно понимать его так и иначе. Стерн был великим мастером двусмысленностей, если понимать это слово гораздо шире, чем люди, придающие ему эротический смысл.

Окончательно теряешься, желая понять, что собственно думает о предмете сам автор, серьезное ли у него лицо или он улыбается; так ему удастся одной и той же складкой лица выразить и то и другое; он умеет и желает быть в одно и то же время правым и неправым, перемешивать глубокомыслие с форсом; его отклонения от рассказа производят впечатление перехода к новому рассказу и впечатление дальнейшего развития истории; его сентенции заключают в себе иронию на все сентенциозное; его отвращение к серьезному связано с наклонностью ни к чему не относиться поверхностно и слегка. У понимающего читателя появляется чувство неуверенности в том, ходит ли он, или стоит, или лежит; впечатление, будто этот самый гибкий из писателей носится в воздухе, сообщает некоторую гибкость и читателю. Стерн незаметно даже меняет роли, то становится читателем, то опять автором; его книга подобна сцене, и на этой сцене театральная публика перед другой театральной публикой. Читатель невольно сдается причудам Стерна безусловно, на его милость и немилость, но всегда может ожидать от него, что он будет милостив. Особенно странно и поучительно отношение к двойственности Стерна у великого Дидро; оно именно также двусмысленное; и в этом уж настоящий сверхъюрмор Стерна! Трудно понять, подражал ли он Стерну и восхищался им, или смеялся и пародировал его в своем «Jacques le fataliste»; быть может, автор хотел именно такой неопределенности. Благодаря этому сомнению французы отнеслись несправедливо к произведению одного из величайших своих писателей, которому не приходится краснеть ни перед одним из древних или новых авторов. Французы слишком серьезны для юмора и особенно для юмористического отношения к юмору. Стоит ли еще добавлять, что из всех великих писателей Стерн меньше всего может служить образцом и прямо-таки неподражаем, так что и сам Дидро поплатился за свою попытку? То, чего хотел и что мог Стерн, есть полная противоположность тому, чего хотели и что могли добрые французы, как прозаики, а раньше их некоторые греки и римляне. Стерн — выдающееся исключение из того, чего требуют от себя все писатели-художники, напр.: выдержанности, законченности, характера, устойчивости взглядов, простоты, приличия в тоне и выражениях. К несчастью Стерн-человек и Стерн-писатель были, по-видимому, слишком родственны друг другу: душа его, подобно белке, безудержу перепрыгивала с ветки на



ветку; все от самого высокого до самого низкого ему было знакомо; он посидел на всяком месте, и всюду с бесстыдными, водянистыми глазами и чувствительной мимикой. Он обладал, если не бояться подобных сопоставлений, черствым добродушием и среди наслаждений разнузданного воображения почти робкой прелестью невинности. Быть может, никто никогда не обладал такой двойственностью души и плоти, таким свободомыслием, пропитывавшим все мускулы и нервы.

114

Избранная действительность. — Подобно тому как хороший прозаик употребляет только слова разговорного языка, но далеко не все (вследствие чего и является изысканный слог), так настоящий поэт будущего будет изображать только действительность, совершенно пренебрегая всем фантастическим, суеверным, полуправдивым, отжившим, над чем пытались свои силы писатели прошлого времени. Он будет изображать только действительность, но далеко не всякую, а избранную.

115

Разновидности искусства. — Наряду с настоящими видами искусства, искусства великого покоя и великого движения, есть еще и разновидности его: искусство, равнодушно ищущее покоя и искусство раздражающее. Оба вида желают, чтобы их слабость принимали за их силу и смешивали их с настоящими видами искусства.

116

Для героев недостает теперь красок. — Истинные поэты и художники нашего времени любят рисовать свои картины на красном, зеленом, сером, золотистом фоне с переливами, вообще на фоне нервной чувственности; в последней дети нашего века ведь знают толк: ошибка в том, что, если смотреть на эти картины глазами не нашего века, то самые крупные фигуры, изображенные художниками и поэтами, кажутся в сущности мерцающими, дрожащими, неустойчивыми; они, как будто, способны не к героическим подвигам, а разве только к громким, хвастливым злодеяниям.

117

Слишком натянутый стиль. — Результатом недостатка организующих сил при неограниченном избытке средств и форм является в искусстве слишком натянутый стиль. При зарождении всякого искусства мы встречаем именно противоположное.

118

*Pulchrum est paucorum hominum.* — История и опыт учит нас, что необычайный избыток, который скрыто возбуждает фантазию и возносит над повседневной действительностью, явился на свет раньше и растет быстрее, чем прекрасное в искусстве и чем понимание прекрасного, и что это особенно ясно выступает, когда чувство прекрасного меркнет. Этот избыток для большинства людей составляет более насущную потребность, чем красота, потому что содержит в себе более грубое наркотическое средство.

119

Происхождение художественного вкуса. — Вдумайтесь в первоначальные зачатки художественного чувства и спросите себя, какие разнообразные радости могло вызвать первое произведение искусства, например, у дикой народной толпы; прежде всего, она радовалась тому, что понимает мысли другого; в этом случае, искусство — род загадки; разгадавший загадку наслаждается своей собственной сообразительностью и остроумием. — Кроме того, в грубом произведении искусства человек с наслаждением смотрит на то, что на опыте было приятно и доставляло ему удовольствие, напр., на охоту, победу, свадьбу. Его может возбуждать, трогать, воспалять, напр., изображение мести, опасности. В этом случае наслаждение кроется в возбуждении, в победе над скукой. Даже воспоминания о неприятном, раз удалось преодолеть это неприятное, или раз оно выставляет нас самих в интересном свете перед слушателями (напр., когда певец описывает несчастья отважного мореплавателя), могут доставить нам большое удовольствие, что и считается верхом искусства. Более возвышенный род радостей — это тот, который мы ощущаем при созерцании правильности и симметрии в линиях, точках, в размерах. Благодаря верному сходству будет развиваться в человеке стремление ко всякому порядку и правильности в жизни — источник его благополучия. Таким образом в культе симметрии человек бессознательно ценит правильность и порядок, — как источник своего бывшего счастья; эта радость — род благодарственного гимна. Пресыщение же победными радостями влечет за собою более тонкие чувствования. Человек начинает находить

тогда удовольствие в нарушении симметрии и правильности, отыскивая смысл в кажущейся бессмыслице. Эстетическое разгадывание доставляет ему наслаждение, но наслаждение это выше, нежели упомянутое раньше. — Продолжая это рассуждение, мы узнаем, какого рода гипотезам по самой их сущности не суждено служить для объяснения эстетических явлений.

120

Не слишком близко. — Хорошим мыслям вредно, если они слишком быстро следуют одна за другой и заслоняют одна другую. Оттого-то величайшие художники и писатели обильно пользовались посредственностью.

121

Грубость и слабость. — Художники всех времен подметили, что в грубости заключается известная сила, и что никто не может сделаться по собственному желанию грубым; они понимают также и то, что некоторые из слабостей производят сильное впечатление на чувства. В силу этого появилось немало вспомогательных средств, от которых трудно воздержаться и самым великим и добросовестным художникам.

122

Хорошая память. — Некоторые люди только потому не мыслители, что обладают слишком хорошей памятью.

123

Возбуждать, но не утолять голод. — Великие художники воображают, что их искусство может овладеть душой человека и удовлетворить ее. В действительности — и часто к их горькому разочарованию — душа становится только еще более неудовлетворенной, ненасытной, так что и десяток великих художников не в силах удовлетворить ее.

124

Опасение художника. — Опасение художника, что его изображения будут безжизненны, вводит его в заблуждение и он изображает людей неистовствующими. В силу тех же причин греческие художники прежнего времени придавали даже умирающим и тяжело раненым слишком жизнерадостную улыбку, не обращая внимания на то, какой отпечаток кладет природа на лицо еще живущего, но почти уже мертвого человека.

125

Круг должен быть закончен. — Если проследить за развитием философии или какого-нибудь вида искусства до самого конца их развития и самый этот конец, то станет ясно, почему последующие ученые и учителя часто с презрительной миной отворачиваются от прежнего пути и избирают новый. Круг надо описать, но каждый, даже величайший философ, твердо держится своей точки окружности с такой неумолимой миной упрямства, как будто круг никогда не будет замкнут.

126

Прежнее искусство и современная душа. — Всякое искусство все более и более изощряется в изображении подвижных, тонких, сильных и страстных душевных состояний. Потому-то позднейшие художники, избалованные новейшими формами изображения, испытывают недовольство от произведений искусства старого времени; по их мнению, древним художникам не доставало способов для ясного выражения своего душевного настроения и, быть может, даже чисто технических приемов. Они верят в сродство и даже в единство всех душ и думают, что в состоянии исправить древние произведения. В действительности же, даже души прежних художников были иные; они были, быть может, более возвышенные, но зато более холодные, им не доставало живой впечатлительности: мера, симметрия, презрение ко всякому блаженному довольству, бессознательная суровость и холодность, отвращение к страстности (как будто от нее могло погибнуть искусство) — все это вполне характеризует настроение и нравственный мир всех прежних художников, которые изыскивали и подбирали средства, подходящие к их морали, не случайно, а с необходимостью. Можно ли после этого отказать позднейшим художникам в праве одушевлять своим духом старинные произведения? Нет; ведь произведения эти будут живыми лишь тогда, когда мы вложим в них нашу душу; только наша кровь делает их понятными для нас. Настоящее историческое произведение — мертво и понятно было бы только умершим. Почитание великих художников прошлого заключается не в том бесплодном взгляде, согласно которому каждое слово, каждое

выражение должно оставлять так, как они есть, а в деятельном стремлении оживить их произведения путем постоянных новшеств. — Положим, вдруг воскрес бы Бетховен и перед ним прозвучало бы какое-нибудь из его произведений, видоизмененное в духе современного вдохновения и нервной тонкости, которые способствуют славе исполнения наших маэстро; Бетховен, вероятно, долго колебался бы, призывать ли ему благословение или проклятие, но, наконец, может быть, сказал бы: «это — ни «я», ни «не я», это что-то третье; в нем есть какая-то доля правды, если нет совершенной правды. Слушайте же это произведение, которое так трогает вас; еще Шиллер сказал, что право принадлежит живущим; пользуйтесь же своим правом, а мне не мешайте вернуться в преисподнюю».

127

Против недовольных краткостью. — Кратко выраженное может быть результатом и плодом долгих размышлений. Но читатель — новичок в этом вопросе, не работавший еще над ним, смотрит на все краткое как на нечто зачаточное и бывает недоволен, когда автор подает ему на стол невыросшие, несозревшие плоды.

128

Против близоруких. — Думаете ли вы, что должно существовать целое, если вам дают (или принуждены дать) части?

129

Читающий сентенции. — Худшие читатели для автора сентенций — это его друзья; они стараются из общего доискаться опять того частного события, которое привело автора к сентенции: благодаря этой мелочности, они сводят на нет труд автора; они не черпают из сентенций философского наставления и поучения, и в лучшем случае стараются по обыкновению удовлетворить свое любопытство.

130

Невежливость читателя. — Двойная невежливость читателя по отношению к автору состоит в том, что читатель хвалит вторую книгу того же писателя по достоинствам первой (или наоборот) и при этом требует признательности к себе со стороны автора.

131

Натянутасть в искусстве. — Следя за историей развития какого-нибудь искусства (напр., греческого красноречия), переходя от одного мастера к другому, чувствуешь при виде этого все возрастающего стремления совсем подчиниться новым и старым правилам и самоограничениям, какую-то мучительную напряженность; чувствуешь, что лук должен лопнуть, что так называемая неорганическая композиция, прикрытая и замаскированная красивыми способами выражения (в нашем случае причудливый азиатский стиль), была некогда необходимостью и даже благодеянием.

132

К великим художникам. — То одушевление вещи, которое ты, великий художник, вносишь в мир, уродует многие умы. Сознание этого унижает. Но вдохновленный тобой с гордостью и удовольствием несет свой горб; и потому ты можешь утешаться, что увеличиваешь счастье в мире.

133

Эстетическая недобросовестность. — Настоящими фанатиками художественной партии являются те, совершенно лишенные художественного чутья натуры, которые, не вникая в элементы искусства и в его силу, прибегают к совершенно элементарному воздействию искусства. Для них не существует никакой эстетической совести, а следовательно, и ничего, что могло бы удержать их от фанатизма.

134

Каким образом трогает душу новейшая музыка. — Художественная цель, преследуемая новейшей музыкой — это «бесконечная мелодия» — выражение очень сильное, но неясное. Пояснить его можно так: человек вступает в море, его походка становится все более и более неуверенной, он постепенно теряет дно и, наконец, волей-

неволей начинает волноваться: он должен плыть. В прежней музыке человек должен был танцевать, передвигаться туда и сюда, то плавно, то торжественно, то страстно. Определенная соразмерность и выдержанность во времени и силе вытесняет из души слушателя ее постоянную холодность; образуются два противоположных потока: поток свежего воздуха, поддерживаемый холодом души, и поток воздуха, нагретого дыханием музыкального вдохновения; в этом состояло волшебство прежней музыки. — Рихард Вагнер старался вызвать новое душевное движение, аналогичное, как сказано раньше, плаванию и волнению. Это, пожалуй, самое существенное из всех его новшеств. Он осуществлял свои художественные замыслы в знаменитой «бесконечной мелодии». «Бесконечная мелодия» не признает и смеется над всякой соразмерностью во времени и силе; она изобилует такими новшествами, которые непривычному уху кажутся ритмическими парадоксами и недостатками. Вагнер боится одеревенения, кристаллизации музыки, превращения музыки в архитектуру; с этой целью он противопоставляет двуктному ритму трехактный, нередко вводит даже пяти и семиактный ритм, повторяет часто одну и ту же фразу, растягивая ее в двойной или тройной период. Но легкое подражание этому искусству может грозить большою опасностью музыке. Не говоря уже о переразвитии ритмических ощущений, ей грозит одичание, упадок ритматики. Особенно велика была бы опасность, если бы музыка эта была лишена всякой высшей пластики и опиралась бы только на натуралистическое драматическое искусство и разговорную речь; ведь в последних нет никакой соразмерности; что же могли бы дать они чисто женственному существу — музыке.

135

Поэт и действительность. — Муза поэта, который не влюблен в действительность, — окажется недействительной и будет порождать ему детей с впалыми глазами и с чересчур нежными костями.

136

Средства и цель. — В искусстве цель не оправдывает средства; но священные средства могут освящать цель.

137

Самые плохие читатели. — Самые плохие читатели похожи на грабящих солдат; они берут себе только то, что им нужно, загрязняя и приводя в беспорядок остальное и надругиваясь над всем.

138

Признак хорошего писателя. — Хороших писателей можно узнать по двум признакам: во-первых, они предпочитают, чтобы их понимали, а не удивлялись им, и, во-вторых, они пишут не для остроумных и слишком проницательных читателей.

139

Смешанные роды. — Смешанные роды в искусстве указывают на недоверие художников к своим силам; он искал вспомогательных средств, поддержки, защиты подобно тому, как поэт призывает себе на помощь философию, музыкант — драму, мыслитель — риторику.

140

Зажимать рот. — Автору приходится зажимать себе рот, когда его произведение раскрывает рты другим.

141

Признак ранга. — Все писатели и поэты, любящие превосходную степень, хотят большего, чем могут.

142

Холодные книги. — Хороший мыслитель рассчитывает только на тех читателей, которые находят наслаждение в хороших мыслях. Таким образом, книга, кажущаяся холодной и скучной, в глазах разумных читателей блещет духовными лучами света и доставляет настоящее духовное наслаждение.

143

Уловка неуклюжего. — Неуклюжий мыслитель призывает к себе обыкновенно на помощь или болтливость или торжественность. Первая, думает он, придаст ему подвижность и легкость. Прибегая же к последнему, он делает вид, будто его неповоротливость есть результат его свободного желания, художественного замысла, требующего, для сохранения достоинства, медленности движения.

144

О стиле «барокко». — Бывают мыслители и художники, которые чувствуют себя не созданными для диалектики и для плавного развития своих мыслей; они хватаются за риторику и драматизм; от этого они думают, что произведения их сделаются более понятными и приобретут силу; для них безразлично, овладевают ли они вниманием публики постепенно, как пастух, или внезапно, подобно разбойнику. Это можно заметить и в пластическом искусстве, и в музыке. Переразвившееся и настоятельное стремление придать форму, в связи с недостатком диалектики и способов выражения, создает тот род стиля, который можно назвать стилем «барокко». Только люди, дурно воспитанные и слишком надменные, могут относиться с презрением к этому стилю. Стил этот появляется при отцветании всякого великого искусства, когда потребности в классических выражениях стали в нем слишком велики, человек смотрит на это явление с грустью, так как оно предшествует наступлению ночи, но вместе с тем он удивляется тем уловкам, к которым прибегает художник для пополнения недостатка в выразительности произведения. Для этого художник подбирает прежде всего материал и сюжеты высшего драматического напряжения; от них дрожит сердце и без всякого искусства, так близки они к небу и аду чувств; частое употребление сильных аффектов и приемов отвратительно-возвышенного, употребление всего в больших размерах — словом, количество, играющее главную роль, — все это преподнес нам отец и родоначальник итальянского причудливого искусства — Микель-Анжело; сумрачный, блестящий, пылающий свет, озаряющий сильно развитые формы и к тому же все новая и новая смелость в способах и задачах искусства, возрастающая у последующих художников. Между тем обыкновенный человек смотрит на эти произведения, как на произвольный поток из рога изобилия естественного искусства; все эти особенности, придающие величие этому стилю, были невозможны, непозволительны в классическую и доклассическую эпоху; сокровища эти долго висели на дереве, как запрещенные плоды. — В наше время именно эту фазу развития переживает музыка; появление стиля «барокко» факт многозначительный, и путем сравнения мы можем уяснить себе многое в более ранние времена. Ведь стиль этот часто встречался и раньше, со времени греков, в поэзии, красноречии, в прозе, в скульптуре и особенно в архитектуре. И хотя стилю этому недоставало каждый раз высшего благородства, невинного, бессознательного, победоносного совершенства, однако он оказывал немало благодетелей многим самым лучшим и самым строгим умам своего времени. Потому-то, как сказано, слишком необдуманно поступают те, которые относятся к нему с презрением. И каждый может считать себя счастливым, если только не утратил, благодаря этому стилю, способности к пониманию более чистого и более высокого.

145

Значение честных книг. — Честные книги делают читателя честным; по крайней мере тем, что открыто выясняют его ненависть и отвращение, которые наилучшим образом умеет затаивать хитрая рассудительность. Но человек решается идти против книги даже в тех случаях, когда не решился бы идти против человека.

146

Каким образом создается художественная партия. — Отдельные красивые места, общий возвышенный тон, пленительные и трогательные заключения — все это доступно пониманию и самых обыкновенных людей. В те периоды искусства, когда хотят привлечь на сторону художников массу обыкновенных людей и составить партию, быть может, для поддержания искусства, в такие эпохи, говорю я, творец произведений искусства поступит хорошо, если не будет творить лишнего. Иначе он будет расточать свои силы там, где никто не будет ему признателен. Давать большее, значило бы сеять по воде (употребляя пример из органической жизни природы).

147

Делаться великим в ущерб истории. — Каждый позднейший художник, приравнивающийся в своем искусстве ко вкусам художественной среды, невольно производит переоценку прежним художникам и их произведениям. В их произведениях он считает ценным только то, что согласно с его произведениями, что родственно им, что нравится ему плод, в котором таится грубая ошибка подобно червяку.

148

Каким образом бывает искусство приманкой века. — При помощи чар искусства и науки можно было бы научиться уважать людей за их недостатки, духовную нищету, неразумные ослепления и страсти (что вполне возможно); — в преступлениях и ошибках можно было бы видеть только возвышенную сторону, в недостатке силы воли и слепой привязанности только трогательную и умильную сторону (и это случалось довольно часто). Так, этими средствами пользовались нередко для того, чтобы возбудить в совершенно нехудожественный, нефилософский век мечтательную любовь к философии и искусству (а именно, к художникам и мыслителям, как личностям); и в худших случаях, как единственным средством увековечить существование таких нежных и хрупких творений.

149

Критика и радость. — Не только разумная критика, но даже несправедливая и односторонняя доставляет критикуемому так много удовольствия, что мир должен с благодарностью приветствовать всякое произведение и поступок, вызывающие много критики; ведь за критикой тянется блестящий хвост радостей, остроумия, самоудивления, гордости, наставлений, поводов к самоусовершенствованию. Бог радости создал низшее и посредственное на том же основании, как и хорошее.

150

За пределы своих границ. — Если художник хочет быть больше, чем художником, например нравственным руководителем своего народа, то в наказание за это он наконец влюбляется в чудовище нравственности — и муза при этом посмеивается над ним; ведь эта добросердечная богиня может быть и ревнивой и злой. Вспомните хотя бы Мильтона и Клопштока.

151

Стеклянный глаз. — Талант, избирающий нравственные сюжеты, лица и мотивы, эту прекрасную душу произведений искусства, бывает иногда только стеклянным глазом, который художник вставляет себе по недостатку настоящей и собственной своей прекрасной души. При этом изредка случается, что этот стеклянный глаз становится в конце концов живой природой, хотя природой несколько тусклой, — чаще же при этом достигается только то, что все принимают за природу холодное стекло.

152

Желание писать и побеждать. — Всякое произведение должно было бы знаменовать собой победу, и именно победу над самим собою, сообщаемую другим для их пользы; но бывают авторы с больным желудком: они пишут именно тогда, когда не могут чего-нибудь переварить, когда что-нибудь застряло у них еще в зубах; они невольно хотят досадить своим неудовольствием и читателю и таким образом выказать свою власть над ним: следовательно, и они хотят побеждать, но не себя, а других.

153

Хорошей книге нужно время. — Каждая хорошая книга обладает при своем появлении терпким вкусом: недостаток ее — новизна. Кроме того, ей вредит и ее живой автор, если он известен и о нем что-нибудь слышно: ведь все имеют привычку смешивать автора с его произведением. Аромат книги, ее сладость и золотистый блеск должны развиваться с годами под влиянием растущего, давнего, наконец, традиционного почитания. Много часов должно пролететь над нею, много пауков сплести свою паутину. Хорошие читатели постоянно улучшают книгу, хорошие противники постоянно выясняют ее.

154

Отсутствие меры, как художественный прием. — Художники отлично знают, что значит пользоваться отсутствием меры, как приемом, чтобы вызвать впечатление богатства. Эта одна из невинных хитростей для уловления душ, с которой должен быть знаком каждый художник: ведь в их мире, где вся суть в видимости, нет необходимости, чтобы средства этой видимости были правдивыми.

155

Скрытая шарманка. — Гении лучше умеют прятать свою шарманку, чем таланты, благодаря величавым складкам набрасываемого ими покроя; но тем не менее и они могут играть только все те же семь песен.

156

Имя на заглавном листе. — Выставлять имя автора на заглавном листе стало теперь обычаем и почти обязанностью, но это служит главной причиной ничтожного влияния книг. Если книга хороша, то она более ценна, нежели личность, квинтэссенцией которой она и является; но раз автор выдает себя на заглавном листе, — читатель распускает квинтэссенцию в личном, даже в интимно-личном, и цель книги не достигается. Гордость разума в том, чтобы — не быть уже индивидуальным.

157

Самая строгая критика. — Нельзя строже критиковать человека или книгу, как рисуя рядом их идеал.

158

Немногие и без любви. — Хорошая книга предназначается для одного определенного читателя и для читателей его типа, а потому все остальные, т. е. большинство, встречает ее недоброжелательно; таким образом ее слава покоится на узком фундаменте и может отстраиваться лишь мало-помалу. Посредственной или плохой книга является именно потому, что хочет нравиться и действительно нравится многим.

159

Музыка и болезнь. — Опасность новейшей музыки заключается в том, что она подносит нам кубок неги и великолепия так очаровательно и с видом такого нравственного экстаза, что даже самый умеренный и благородный человек всегда хлебнет несколько лишних капель. Но эти маленькие излишества при постоянном повторении могут произвести более глубокое потрясение и повреждение духовного здоровья, чем любой грубый эксцесс: так что в один прекрасный день остается только бежать из грота нимф, несмотря на морские волны, бежать к домашним очагам Итаки, в объятия более простой и человеческой подруги, — словом, вернуться домой.

160

Выгода для противников. — Книга, полная ума, наделяет умом и своих противников.

161

Молодость и критика. — Критиковать книгу для молодости — значит не подпускать к себе ни единой ее плодотворной мысли и защищать свою шкуру руками и ногами. Если юноша не может всем сердцем полюбить что-нибудь, то живет в состоянии постоянной обороны этого нелюбимого и при этом совершает столько излишних преступлений, сколько может.

162

Влияние количества. — Величайший парадокс истории поэзии заключается в том, что можно быть настоящим варваром во всем, что составляло величие прежних поэтов, быть от головы до пяток извращенным и все же оставаться величайшим поэтом. Это относится, например, к Шекспиру, который при сравнении с Софоклом напоминает рудник, полный неисчислимой массы золота, свинца и булыжника, тогда как Софокл полон только золота, и притом золота в благороднейших формах, заставляющих забыть ценность самого металла. Но количество, когда оно громадно, производит впечатление достоинства, — что и выгодно для Шекспира.

163

Всякое начало опасно. — Поэт должен выбирать одно из двух: или постепенно повышать чувство и доводить его таким образом до чрезвычайной высоты, или попробовать ошеломить сразу изо всех сил, натянув веревку колокола. То и другое начало опасно: в первом случае слушатель может убежать от скуки, во втором от страха.

164

В защиту критиков. — Насекомые жалят не по злости, а потому, что им тоже хочется пить: так и наши критики; им нужна кровь, а не боль наша.

Успех сентенций. — Неопытные люди, услышав какую-нибудь сентенцию, правдивость которой бросается им в глаза, сейчас же предполагают, что она стара и общеизвестна и косо смотрят на ее автора, как будто он собирается похитить общественное достояние: но они радуются пряным полуистинам, автор которых встречает с их стороны одобрение. Он сразу смекает в чем дело и понимает, в чем он потерпел неудачу и в чем имел успех.

Жажда победы. — Художник, постоянно берущийся за задачи, превышающие его силы, непременно в конце концов увлечет массу зрелищем грандиозной борьбы, которую он ведет: успех не всегда сопровождает только победу, а иногда и жажду победы.

Sibi scribere. — Разумный писатель пишет не для какого-нибудь будущего, а только для своего, т. е. для себя в старости, чтобы и тогда радоваться собою.

Похвала сентенции. — Хорошая сентенция слишком жестка для зуба времени, ее не могут изгрызть все тысячелетия, хотя она служит пищею всем векам: ввиду этого она является великим парадоксом в литературе, непреходящим среди изменчивого, едой, которая постоянно ценится, как соль, и, как она, никогда не глупеет.

Художественная потребность второго сорта. — Конечно, у народа есть доля того, что называют художественной потребностью, но она ничтожна и удовлетворить ее можно самыми дешевыми средствами. В сущности для этого достаточно отбросов искусства: в чем и надо честно сознаться. Припомните только, какими мелодиями и мыслями услаждают себя самые сильные, неиспорченные, нравственные слои населения: пастухи, скотоводы, крестьяне, охотники, солдаты, моряки; припомните и решите сами. И разве в маленьких городах не любят и не обожают даже самую скверную музыку, именно в тех домах, где царят гражданские добродетели? Кто говорит о глубоком стремлении, о неудовлетворенной потребности народа в этом оношении, тот или заблуждается или обманывается. Будьте честны! Художественные потребности высокого стиля имеются в настоящее время только у людей исключительных. — Кроме того, именно вне народа существует действительно широкий, обширный круг людей, имеющих художественные потребности, но только второго сорта: это средние и высшие слои общества: здесь возможно нечто вроде художественного братства в серьезном смысле. Но присмотритесь к этим элементам; это в большинстве случаев утонченные неудачники, ни в чем не находящие настоящей радости; образованные люди, которые недостаточно свободны, чтобы обходиться без религиозных утешений, но не находят этот бальзам достаточно благовоным; люди полублагородные, слишком слабые чтобы геройским переворотом или отречением побороть коренную ошибку своей жизни или вредную наклонность характера; люди даровитые, но слишком высокомерные для того, чтобы приносить пользу скромной деятельностью и слишком ленивые для больших, самоотверженных трудов; девушки, которым не удастся создать себе круг удовлетворяющих обязанностей; женщины, связавшие себя легкомысленным или преступным браком, но недостаточно им связанные; ученые, врачи, купцы, чиновники, чересчур рано ушедшие в свою специальность, никогда не предоставлявшие полного простора своей природе, и сердце которых грызет червь в то время, как они делают свое хорошее дело, наконец, художники, не достигшие совершенства — вот люди с художественными потребностями! И чего же ищут они в искусстве? Оно должно отгонять от них тоску и угрызения совести в часы и минуты душевных страданий, и по возможности представлять ошибки их жизни или характера как великие ошибки вселенной. Греки, совершенно наоборот, искали в искусстве исхода преисполнявшему их чувству довольства и здоровья. Они любили лишний раз насладиться собственным своим совершенством, объективируя его: они возвели в степень искусства — наслаждение собою, как наши современники — недовольство собою.

Немецкий театр. — Истинным драматическим талантом был у немцев Коцебу: он составляет нечто нераздельное со своими немецкими современниками, как высших, так и средних классов; они могли вполне серьезно сказать о нем: «в нем мы живем, им дышим и существуем». В нем не было ничего деланного, придуманного, ничего проявляющегося лишь наполовину; все, чего он хотел и на что был способен, понималось



легко; да и теперь еще честный успех на немецкой сцене принадлежит стыдливому или бесстыдному наследникам приемов и эффектов Коцебу, разумеется, поскольку комедия вообще пользуется успехом. И вывод из этого тот, что многие элементы тогдашнего немецкого общества еще живы, особенно вдали от больших городов. Добродушные люди, невоздержанные по части мелких удовольствий, слезливые, желающие хотя бы в театре отрешиться от врожденного благоговения перед долгом и отнестись с улыбкой и даже со смехом снисхождения к прегрешениям, смешивая доброту с состраданием, — как это свойственно немецкой сентиментальности, — ужасно радовались всякому великодушному поступку, но сами в общем были низкопоклонны к высшим, завистливы друг к другу, и все-таки вполне довольны собою, — таковы были они, таков был и он. — Другой драматический талант был Шиллер: он обрел публику, которую раньше игнорировали. Он обрел ее в молодежи, в немецких юношах и девушках. Его произведения отвечали их более благородным стремлениям, возвышенным и бурным, хотя и неясным, их пристрастию к звучному языку нравственных сентенций (что исчезает обыкновенно к тридцати годам), и соответственно способности увлекаться и духу партийности людей этого возраста, он имел успех, выгодно повлиявший и на людей более зрелых: в общем, Шиллер заставил немцев помолодеть. — Гёте во всех отношениях стоял и стоит еще теперь выше немцев. Он никогда не будет им принадлежать. Да и может ли какой бы то ни было народ дорасти до духовности Гёте в его благожелательстве и благодушии! Как музыка Бетховена, как философия Шопенгауэра, так и поэзия Гёте в Тассо и Ифигении превзошла границу понимания немцев. За ним следовала очень небольшая свита людей высокообразованных, воспитанных на древних, на жизненном опыте и на путешествиях, словом, переросших немецкую ограниченность, — да иной публики он и не хотел. Но потом, когда романтики воздвигли в своих целях настоящий культ Гёте, когда их удивительное искусство привлекать перешло к гегельянцам, истинным воспитателям немцев девятнадцатого века, когда на помощь славе немецких поэтов явилось растущее национальное тщеславие, когда вопрос о том, чем может народ честно восхищаться, был подчинен мнению отдельных лиц и упомянутому тщеславию, словом, когда восхищаться нужно было во что бы то ни стало, тогда возникла та поддельная и ложная немецкая образованность, которая стала стыдиться Коцебу и провела на сцену Софокла, Кальдерона и даже вторую часть Фауста; в конце концов благодаря огрубевшему языку и испорченному желудку мы не знаем, что собственно нам нравится и от чего скучаем. — Счастлив тот, кто обладает вкусом, хотя бы и дурным. Только это качество дает счастье, мало того — только оно придает мудрость. Поэтому греки, тонкие судьи в подобного рода вопросах, называли мудреца человеком со вкусом, а мудрость, как художественную, так и научную — вкусом (Sophia).

171

Музыка, как последыш культуры. — Музыка расцветает, как последний из цветов, которым суждено вырасти на почве данной культуры, при данных социальных и политических условиях: она появляется осенью перед замиранием самой культуры: при этом уже заметны бывают первые гонцы и первые вестники вновь приближающейся весны; иногда музыка является слишком поздно и звучит среди удивленного нового мира, словно язык давно похороненной эпохи. Душа христианского средневековья нашла свое полное выражение только в искусстве нидерландских композиторов: их тональная архитектура — есть поздно родившаяся, но законная и родная сестра готики. Только в музыке Генделя зазвучали лучшие струны души Лютера и его присных, тот великий иудейски-геройский порыв, которым создана была реформация. Только Моцарт превратил в звучащее золото век Людовика XIV и искусство Расина и Клод-Лоррена. Восемнадцатое столетие, это столетие утопий, разбитых идеалов, мимолетного счастья нашло свой отклик только в Бетховене и Россини. Любитель чувствительных сравнений мог бы сказать, что всякая истинно-выдающаяся музыка является лебединой песней. — Музыка вовсе не вневременной всеобщий язык, как это иногда утверждают в похвалу ей: она строго соответствует тому количеству теплоты, чувства и такта, которое носит в себе как свой внутренний закон данная культура, ограниченная временем и местом: музыка Палэстрина была бы недоступна грекам; и что бы мог в свою очередь понять Палэстрина в музыке Россини? Возможно, что и наша новейшая немецкая музыка, как она ни господствует и ни стремится господствовать станет в скором времени непонятной; она является плодом культуры, быстро идущей по наклонной плоскости; почвой ей служит тот период реакции и реставрации, во время которого расцвели чувственный католицизм и стремление ко всему самородно-национальному, распространяя по Европе свой смешанный аромат. Именно эти два направления, в высшей степени усиленные и доведенные до последней крайности, зазвучали наконец в музыке Вагнера. Приспособление Вагнером древних саг, его облагораживающее хозяйничанье среди столь чуждых нам богов и героев, этих царственных хищников, его стремление приписать им глубокомыслие, великодушие и пресыщенность жизнью, одухотворение этих образов, которым он придал католическо-средневековую жажду чувственных и сверхчувственных восторгов, все эти заимствования и прибавки Вагнера находятся в очевидном соответствии с его музыкой, хотя голос ее и не лишен некоторой двусмысленности: этот дух ведет последнюю реакционную войну против духа просвещения, наследия прошлого века, а также против ультранациональных революционных утопий французов, и той трезвости, с которой американцы и англичане перестраивают общество и государство. Но не очевидно ли, что эти чувства и мысли, отодвинутые на задний план у Вагнера и его учеников, теперь уже снова вошли в силу? Что этот поздний музыкальный протест звучит для ушей, которые охотнее слушали бы противоположные звуки? И

вот в один прекрасный день это удивительное и возвышенное искусство станет сразу непонятным и будет предоставлено паукам и забвению. — Не надо заблуждаться при этих переворотах и придавать слишком большое значение тем ничтожным колебаниям, которые являются реакцией против реакции, временным понижением волн в общем приливе. Так, искусство Вагнера может очутиться временно на вершине славы за время настоящего десятилетия с его национальной войною, ультрамонтанским мученичеством и страхом перед социализмом, но это отнюдь не служит залогом того, чтобы искусство это имело будущность, даже чтобы оно имело хоть какое-нибудь будущее. Такова уж суть музыки, что плоды ее великих культурных эпох становятся безвкусными и гибнут раньше, чем плоды пластических искусств или даже растущих на древе познания: изо всех произведений художественного гения человечества — мысли наиболее долговременны и выносливы.

172

Поэты уже не учителя. — Как это ни странно звучит в наше время, но бывали поэты и художники, душа которых была выше судорожных страстей с их экстазами и радовалась только самым чистым сюжетам, самым достойным людям, самым нежным сопоставлениям и разрешениям. Современные художники в большинстве случаев разнуздывают волю и поэтому иногда являются освободителями жизни, те же были укротителями воли, усмирителями зверя и творцами человечности, словом, они создавали, переделывали и развивали жизнь, тогда как слава нынешних состоит в том, чтобы разнуздывать, спускать с цепи, разрушать. — Древние греки требовали от поэта, чтобы он был учителем взрослых, но как устыдился бы современный художник, если бы этого пожелали от него, который сам никогда не был хорошим учеником, никогда не был хорошим произведением, прекрасной картиной, и в лучшем случае напоминает наводящий ужас, но привлекательный разрушенный храм, и в то же время пещеру страстей, поросшую цветами, колючками и ядовитыми корнями, населенную и посещаемую змеями, червями, пауками и птицами. Вот предмет, невольно наводящий на размышление о том, отчего даже самое благородное и драгоценное является теперь сразу как бы руиной, чуждой совершенства в прошлом и в будущем.

173

Взгляд на прошлое и на будущее. — Когда мы сами становимся мудрее и гармоничнее, то научаемся наслаждаться только таким искусством, которое струится как избыток житейской мудрости и гармонии из натур, подобных Гомеру, Софоклу, Теокриту, Кальдерону, Расину, Гёте, и отвергаем варварский, хотя и очаровательный фонтан горячих и пестрых образов, брызжущий из необузданно-хаотической души, и который мы в молодости считали искусством. Но само собой понятно, что в известную пору жизни существует такая потребность в напряженном, возбужденном искусстве, такое отвращение ко всему уравновешенному, одноцветному, простому и логичному, что художники должны удовлетворять их во избежание того, чтобы души людей такого возраста не направились по другой дороге и не искали бы удовлетворения в разного рода безобразиях и развратах. В искусстве чарующего беспорядка нуждается большинство кипучих юношей, переполненных чувствами и страдающих только от скуки, в нем нуждаются и женщины, которые не нашли себе хорошей работы, заполняющей их душу, и у которых сильнее, чем когда-нибудь, пробуждается тоска по наслаждению без перемен, по счастью без ошеломляющего шума.

174

Против искусства в произведениях искусства. — Искусство должно прежде всего украшать жизнь, т. е. делать нас сносными, а по возможности и приятными для самих себя и для других; имея в виду эту задачу, оно должно умерять нас и обуздывать, создавать формы обхождения, связывать людей невоспитанных законами приличия, научать порядку, вежливости и умению говорить и молчать вовремя. Затем искусство обязано скрывать или замаскировывать все безобразное, все тяжелое, страшное, омерзительное, что, несмотря ни на какую культуру нравов, всегда будет прорываться всилу происхождения человеческой природы. Так должно искусство воздействовать на страсти, душевные страдания, ужасы, придавая всему неизбежно и непреодолимо безобразному блеск известного значения. Рядом с этою громадною, даже чрезмерною задачею искусства, художество в собственном смысле, поскольку оно проявляется в художественных произведениях, является лишь второстепенным придатком.

Человек, в избытке обладающий этими украшающими, замаскировывающими и истолковывающими силами, будет отдавать этот избыток на произведения искусства; то же применимо в известных случаях и к целому народу. Но теперь обыкновенно начинают с конца, прицепляются к его хвосту и считают, что искусство художественных произведений и есть то настоящее искусство, которое должно улучшить и переделать жизнь. О, как мы глупы! И что удивительно, если мы, начиная обед с десерта, пробуя одни сладости за другими, портим себе желудок и заглушаем аппетит к тем здоровым и питательным блюдам, к которым приглашает нас искусство.

Существование искусства. — Благодаря чему продолжает существовать искусство художественных произведений? Благодаря тому, что большинство людей, пользующихся досугом, — только для них и существует подобное искусство, — не умеют употребить его без музыки, театра, посещения галлерей и чтения стихов и романов. Если бы можно было удержать их от такого времяпрепровождения, то они или не стремились бы к досугу с таким жаром и обычная теперь зависть к богатству встречалась бы реже, что было бы большим приобретением в смысле устойчивости общественного строя; или они продолжали бы иметь досуг, но научились бы думать (а этому можно и научиться и разучиться), напр., о своих работах, о своих связях и о тех удовольствиях, какие они могут доставлять другим: в обоих случаях это было бы выгодно для всех, кроме художников. Конечно, найдется сильный и умный читатель, который сумеет сделать мне дельное на это возражение. Но я должен сказать тупым и зложелательным читателям, что мне нужны именно возражения, как относительно этого, так и многих других мест этой книги, так как в них надо уметь читать кое-что и между строк.

Глас Божий. — Поэт, высказывая наиболее общие и наиболее возвышенные мнения, из числа тех, которыми обладает народ, является его голосом, или его флейтой, но так как он высказывает их с соблюдением размера и других художественных приемов, то народ воспринимает их вновь, как нечто небывалое и необыкновенное, и серьезно думает о поэте, что его устами вещает божество. Огуманенный творчеством, поэт и сам забывает, откуда он заимствовал свою премудрость, доставшуюся ему в действительности от отца и матери, от учителей, из разного рода книг, прямо с улицы и в особенности от духовенства; собственное искусство обманывает его и в наивные времена он действительно верит, что через него гласит само божество, что он творит в состоянии религиозного ясновидения: тогда как он высказывает только то, чему научился, т. е. наряду с народной мудростью и народную глупость. Итак, поскольку поэт — глас народа — *vox populi*, его считают и за *vox dei* — гласом божим.

Недостижимая цель всякого искусства. — Самая трудная и последняя задача художника — это изображение непреходящего, в себе самом уравновешенного, высокого и простого, далекого от всяких частных прелестей, поэтому слабые художники отвергают изображение нравственного совершенства, как лежащего за пределами искусства: зрелище этих плодов искусства мучительно для их тщеславия, — они блещут на самых верхних ветвях художественности, но у них нет ни лестницы, ни мужества, ни ловкости, чтобы подняться так высоко. Вообще говоря, Фидий как поэт — возможен, но по отношению к силам современников это разве мыслимо только в том смысле, что «для Бога все возможно». Даже желание стать поэтом, равным Клод-Лоррэнэну является по нынешнему времени нескромностью, как бы сердце не рвалось к этому. — Еще не было художника, который изобразил бы величайшего человека, т. е. наиболее простого и наиболее развитого; однако греки проникли глубже всех в этом направлении, создав идеал Афин.

Искусство и реставрация. — Реакционные движения в истории, — так называемые периоды реставрации, — которые стараются вдохнуть жизнь в духовные и общественные порядки, предшествовавшие господствующим и которым действительно, по-видимому, удастся на короткое время как бы воскресить их, обладают своеобразной прелестью воспоминаний, полных чувства и тоскливого стремления к почти утерянному, торопливых объятий с мимолетным счастьем.

Благодаря этой особенной глубине настроения, искусство и поэзия в эти мимолетные и как бы баснословные эпохи находят себе естественную почву: так на крутых склонах гор растут самые нежные, самые редкие растения.

Поэтому хорошего художника порой незаметно тянет к реставрационному образу мыслей в искусстве и обществе, и он создает себе для них на собственный страх тихий уголок и маленький садик: там собирает он вокруг себя человеческие останки милой ему исторической эпохи и, окруженный мертвецами, полумертвецами, людьми смертельно утомленными, заставляет звучать свои струны, и тем, быть может, достигает вышеупомянутого успеха — в виде кратковременного воскрешения прошлого.

Счастливое время. — Наше время можно назвать счастливым в двух отношениях. Мы наслаждаемся всеми

культурами прошлого и их произведениями, питаемся благороднейшею кровью всех времен, а с другой стороны, мы еще настолько близки к очарованию тех сил, из глубины которых они возникли, что от времени до времени можем подчиняться им с восторгом и содроганием. Между тем предшествующие культуры могли наслаждаться лишь собою и были ограничены собственными пределами, словно накрытые более или менее узким колоколом, пропускающим, правда, извне лучи света, но недоступные их взорам. Вместе с тем для нас впервые в истории по отношению к будущему раскрылся необъятный кругозор человеческих экономических целей, охватывающих весь земной шар. При том же мы без излишнего самомнения сознаем себя в силах взяться за эту задачу, не нуждаясь в помощи мистических сил; пусть наше предприятие окончится даже неудачей, пусть мы переоценили наши силы, — во всяком случае нет никого, кому мы были бы обязаны отчетом, кроме нас самих: человечество может, начиная с настоящего времени, делать с собою все, что хочет. — Впрочем, бывают странные пчелы-люди, которые умеют высасывать из всего на свете только самое горькое и самое досадное; — ведь ничто в мире не заключает в себе мед. Они могут по-своему отнестись к изображенному счастью нашей эпохи и продолжать строить свой улей недовольства.

180

Греза. — Храмы наук и созерцания для взрослых, зрелых и пожилых людей, посещаемые ежедневно, но без принуждения каждым согласно велению обычая: церкви, как места наиболее к этому приспособленные и наиболее богатые воспоминаниями; равным образом ежедневные празднества во славу достигнутого и достижимого духовного достоинства человечества: новый и роскошный расцвет идеала наставника, в котором должны слиться священник, художник и врач, ученый и мудрец, причем все эти добродетели должны сказаться как одна добродетель в самом учении, в преподавании, в методе, — вот та греза, которая постоянно возникает передо мною. Я думаю, что она приподымает край завесы, скрывающей будущее.

181

Воспитание — извращение. — Крайняя шаткость всякого рода воспитания, благодаря чему каждый взрослый человек полагает, что единственным его воспитателем был случай, флюгерообразная изменчивость целей и методов воспитания объясняются тем, что теперь все культурные силы, как старые, так и новые, не столько хотят быть понятыми, сколько услышанными, словно в расхоронившемся народном собрании, они хотят во что бы то ни стало доказать своими возгласами и криками, что они еще существуют или что они уже существуют. Бедные учителя и воспитатели были сперва оглушены этим шумом, потом стали немые, наконец тупые, и начали не только подчиняться чему угодно, но и позволять всему этому влиять на их воспитанников. Они сами невоспитаны, — как же могут они воспитывать? Они сами вовсе не прямые, крепкие, здоровые стволы, а потому, кто захочет опереться на них, должен извиваться, закручиваться и оказаться в конце концов искаженным и извращенным.

182

Философы и художники нашего времени. — Пустынность и холод мысли, пожар страстей и остывшее сердце — вот то отвратительное совмещение, которое мы находим в лучших представителях современного европейского общества. Художник полагает, что он достиг чрезвычайно многого, если рядом с пожаром страстей ему удалось зажечь огонь в сердце; а философ думает то же о себе, если наряду с холодом сердца, общим у него со всеми современниками, ему удастся при помощи мироотрицающих суждений затушить в себе и в обществе и пожар страсти.

183

Не становиться без нужды солдатом культуры. — Только в конце концов человек научается тому, незнание чего приносит в молодости так много огорчений, а именно: что надо, во-первых, всегда превосходно поступать; во-вторых, отыскивать все превосходное, где бы и под каким бы именем оно ни встречалось; при встрече же с чем бы то ни было дурным и посредственным всегда уступать ему дорогу, не вступая с ним в борьбу; он научается тому, что уже одно сомнение в достоинстве чего бы то ни было (а это сомнение быстро возникает у людей с развитым вкусом), должно служить аргументом против данного предмета и поводом к удалению от него: хотя бы мы при этом и рисковали впасть в заблуждение и все труднодоступное, но хорошее принимать за дурное и несовершенное. Только кто не может ничего лучшего, должен вступать в борьбу с безобразиями мира, как солдат культуры; но питающее и развивающее культуру сословие погибнет, если оно возьмется за оружие и нарушит мир своего призвания и своего очага, обратив его в тревожный военный лагерь с его заботами, ночными караулами и беспокойными снами.

Как нужно рассказывать естественную историю. — Надо так рассказывать естественную историю, эту историю борьбы и победы нравственной духовной силы над страхом, воображением, манией, суеверием и глупостью, чтобы каждый слушающий ее охвачен был стремлением к духовному и телесному здоровью и совершенству, к радости быть наследником и продолжателем задач человечества и ко все более благородной потребности действовать.

До сих пор она не нашла еще подходящего языка. Для этого нужны красноречивые и находчивые художники, а они все еще относятся к ней с упрямым недоверием, и прежде всего не хотят хорошенько изучить ее. Надо однако признать, что англичане в своих научно-популярных книгах сделали достойные удивления шаги по направлению к этому идеалу; зато же они и написаны самыми выдающимися учеными, т. е. натурами цельными, богатыми и полными чувства, а не такими посредственными исследователями, как наши.

Гениальность человечества. — Если гениальность, согласно замечанию Шопенгауэра, состоит в святом и живом воспоминании обо всем пережитом, то стремление к всеобщей гениальности человечества заключалось бы в стремлении к познанию всего исторического процесса, который все могущественнее выделяет новое время из всех эпох и впервые разбивает старые преграды между природой и духом, человеком и животным, нравственным и физическим. До совершенства продуманная история была бы космическим самосознанием.

Култ культуры. — Великим людям природа придает наводящие страх «слишком человеческие» свойства их характера, ошибок, заблуждений и несоразмерностей, и это для того, чтобы их мощное, часто слишком мощное влияние на людей сдерживалось в известных границах при помощи недоверия, возбуждаемого отрицательными качествами. Система всего, в чем нуждается человечество для своего существования, так всеобъемлюща и требует столько разнородных и многочисленных сил, что человечество в его целом должно жестоко платить за всякое одностороннее предпочтение, будь то в сторону науки, политики, искусства или торговли; а между тем отдельные личности стремятся именно к этому. Поклоняться человеку — это величайшее преступление перед культурой.

Рядом с культом гения и силы нужно для равновесия и исцеления всегда ставить култ культуры, умеющий понять, взвесить и признать необходимым даже все материальное, ничтожное, низменное, непризнанное, слабое, несовершенное, одностороннее, половинчатое, ложное и кажущееся; ведь созвучие и развитие всего человеческого достигается изумительным трудом и счастливыми случайностями, и дело циклонов и муравьев не погибает точно так же, как и дело гениев; можем ли мы отказаться от общего, глубокого, порою ужасающего основного баса, без того, чтобы мелодия не перестала быть мелодией?

Античный мир и радость. — Люди античного мира умели лучше нас радоваться, мы же умеем меньше огорчаться; те постоянно искали предлога, чтобы чувствовать себя хорошо и справлять праздники и находили их, благодаря своему богатому остроумию и вдумчивости; мы же употребляем наш ум на то, чтобы разрешать задачи, клонящиеся скорее к отсутствию страдания и устранению его источников. Древние, встречая страдание, старались забыть его, или превратить его как-нибудь в приятное: они искали средств паллиативных, мы же ищем причин страдания и действуем скорее профилактически. Быть может, мы строим лишь фундамент, на котором люди будущего снова построят свой храм Радости.

Музы — лгуны. — Явившись как-то Гесиоду музы сказали: «Мы умеем говорить много лжи». Если посмотреть на художника, как на лжеца — можно прийти ко многим открытиям.

Как парадоксален бывает Гомер. — Есть ли что-нибудь более дерзкое, ужасающее, невероятное, чем мысль Гомера, сияющая над судьбами человечества, как зимнее солнце:

Таково свершилось решение богов, и смерть присудили

Людам, чтобы песнью служила она и в позднейших потомствах.

Итак, мы страдаем и гибнем, чтобы у поэта не было недостатка в сюжетах, а об этом стараются сами

Гомеровские боги, которые, очевидно, весьма заботятся о развлечениях будущих поколений, но совершенно игнорируют нас, современников. — И как могла прийти такая мысль в голову грека!

190

Оправдание существования задним числом. — Иные идеи вошли в свет как заблуждения и фантазии, но сделались истинами, потому что люди тем временем подсунили им истинный субстрат.

191

Необходимость pro и contra. — Тот, кто не понимает, что ради блага человечества необходимо не только поддерживать великого человека, но и бороться с ним, сам, несомненно, или большое дитя или... великий человек.

192

Несправедливость гения. — Несправедливее всего гений относится к гениям же, если таковые имеются в числе его современников, — во-первых, он полагает, что они ему не нужны, а потому считает их вообще лишними, ведь он и без них гений, — а во-вторых, их влияние пересекает действие его электрического тока: поэтому он склонен признавать их даже вредными.

193

Наихудшая судьба пророка. — Двадцать лет работал он над тем, чтобы убедить своих современников в истинности своего учения, — наконец, это удалось ему; но не дремали и его противники: он сам перестал верить себе.

194

Три мыслителя равны одному пауку. — В каждой философской секте друг за другом следуют три мыслителя в следующем порядке: первый выделяет из себя основу, второй тянет из нее и плетет искусную сеть, третий подкарауливает жертву, которая может в ней запутаться и старается жить философией.

195

Из обращения с авторами. — При сношениях с автором, так же невежливо хватать его за рога, как и за нос: а у каждого автора есть свои рога.

196

Двойная ткань. — Неясность мысли и мечтательность часто соединяются с неудержимым желанием пробиться во что бы то ни стало и пользоваться исключительным значением; так же точно и сердечная готовность помочь, благодушие и благожелательство связаны часто с стремлением к ясности и отчетливости мысли, к сдержанности чувств и к самообладанию.

197

Связующее и разделяющее. — Разве в мозгу людей не заключается того, что связывает людей между собою, т. е. понимание общих выгод и невыгод? А в сердце разве нет того, что их разъединяет; слепой выбор в любви и ненависти, пристрастие к одному в ущерб всем и возникающее отсюда пренебрежение к общему благу.

198

Стрелки и мыслители. — Встречаются курьезные стрелки: не попав в цель они отходят от барьера с тайною гордостью, что их пуля полетела очень далеко (во всяком случае дальше цели), или что не попав в цель, они попали во что-нибудь другое. Встречаются такие же точно мыслители.

199

С двух сторон. — С умственным течением или с движением мы боремся как в том случае, когда стоим выше его

и не одобряем его цели, так и когда цель эта слишком высока для нас и недоступна нашему глазу, т. е. когда мы стоим ниже ее. Так что с одной и той же партией можно бороться с двух сторон — снизу и сверху; а иногда обе нападающие партии из ненависти заключают между собою союз, который всегда отвратительнее всего, что они ненавидят.

200

Оригинальность. — Признак оригинальной головы не в открытии чего-нибудь нового, а в умении взглянуть с новой точки зрения на старое, общеизвестное, всеми виденное и никем не усмотренное. Открывает все новое обыкновенно никто иной, как всем известный заурядный и неумный фантаст — случай.

201

Заблуждение философа. — Философ думает, что ценность его философии лежит в целом, в строении; но потомство находит ценным только камень, из которого он строил и из которого можно построить новое и лучшее здание, то есть ценно для него именно то, что здание можно разрушить и все-таки оно будет полезно, как материал.

202

Острота. — Острота есть эпиграмма на смерть какого-нибудь чувства.

203

За минуту до решения. — В науке чуть не каждый день, чуть не каждый час случается, что человек за минуту до решения своей задачи останавливается глубоко убежденный, что все его усилия были напрасны. Так останавливаешься, развязывая петлю в тот самый момент, когда она готова распуститься, потому что в этот момент она больше всего походит на узел.

204

Вращаться в кругу мечтателей. — Человек благоразумный, уверенный в своей умственной трезвости, может не без пользы прожить лет десять между фантазерами и заразиться в этой жгучей зоне скромной дозой безумия. Он сделает таким образом много шагов по пути, ведущему к тому духовному космополитизму, который может без преувеличения сказать о себе: «Ничто духовное более мне не чуждо».

205

Сильный ветер. — Самое лучшее в науке, как и в горах, — это дующий в них резкий ветер. Люди слабые духом (напр., художники) боятся его и поэтому поносят науку.

206

Почему ученые благороднее художников. — Науке необходимы более благородные натуры, чем искусству: они должны быть проще, сдержаннее, тише, менее честолюбивы, они не должны чересчур заботиться о своей славе в потомстве и забывать себя ради таких вещей, которые в глазах толпы редко являются заслуживающими такой жертвы. Кроме того, тут есть еще одна невыгода, на которую люди науки идут сознательно: род их занятий, требуя строжайшей трезвости мышления, ослабляют их волю, и огонь в них поддерживается не так сильно, как на очаге художественных натур: поэтому они теряют силу и талант раньше, чем художники, и знают об этой опасности. Они кажутся при всех обстоятельствах менее даровитыми, потому что меньше блестят, и всегда кажутся менее стоящими, чем стоят на самом деле.

207

Как благоговение ослепляет. — В позднейшие столетия великому человеку приписывают все великие достоинства и добродетели его века, таким образом все лучшее в нем затемняется благоговением, которое питают к нему, как к чему-то священному и до того обставляют и обвешивают его приношениями, что последние совершенно окружают его и он становится скорее предметом веры, чем созерцания.

208

Стоять на голове. — Ставя истину на голову, мы обыкновенно не замечаем, что и наша собственная голова стоит не там, где ей следует.

209

Происхождение и польза моды. — Очевидное довольство своею наружностью со стороны какой-нибудь отдельной личности вызывает подражание и создает шаблонную наружность для многих, т. е. моды: вся масса подражателей хочет достигнуть посредством моды того же приятного самодовольства и достигает его. Стоит вспомнить, сколько оснований для боязливой и стыдливой необщительности имеет каждый человек, стоит вспомнить, что не менее трех четвертей его энергии и доброй воли были бы этим убиты, чтобы почувствовать благодарность к моде, которая освобождает эти три четверти, придает нам самоуверенность и обеспечивает веселую встречу тех, которые чувствуют себя взаимно связанными ее законом. Даже глупые законы доставляют свободу и спокойствие духа, если только многие им подчиняются.

210

Развязыватели языка. — Достоинство некоторых людей и книг заключается в той особенности, что они принуждают каждого высказывать самые свои сокровенные мысли, самое интимное свое содержание: они развязывают языки и пробивают бреши даже в самых сцепленных зубах. События и преступления, которые, казалось бы, могут только служить проклятием для человечества, приносят однако пользу в вышеуказанном смысле.

211

Люди свободного стремления. — Никто из нас не имеет права назвать себя свободным духом, если не имеет возможности так или иначе хорошо относиться к тем людям, к которым эта кличка применяется в качестве ругательства, и тем самым брать на свои плечи часть общественного осуждения и порицания. Но употребляя скромное, быть может, даже слишком скромное выражение, мы можем называть себя людьми свободного стремления, потому что стремление к свободе живет в нас, как самая сильная тенденция нашего духа, и мы видим наш идеал в чем-то вроде духовного перекочевывания, при сравнении с умами, связанными и крепко пустившими прочные корни.

212

Вот благосклонность Муз! — За сердце хватает то, что говорит об этом Гомер, до такой тепени это верно и ужасно:

«Любит Муза его и дарит и благое и злое:

Очи она отняла, дала сладкозвучные песни».

Для мыслящего человека эти слова имеют бесконечно глубокое значение: она дарит и благое и злое, это ее манера любить! И пусть каждый подумает, отчего мы, поэты и мыслители, должны жертвовать за это нашим зрением.

213

Против музыкального воспитания. — Художественно упражнять глаз, с самого детства рисуя, упражняясь в письме и набрасывая пейзажи, портреты, сцены, конечно, в высшей степени полезно и для жизни, потому что делает глаз острым, спокойным и терпеливым при наблюдении людей и положений. Художественное воспитание уха не дает такого побочного жизненного приобретения: поэтому в народных школах следует предпочитать живопись музыке.

214

Искатели тривиальностей. — Тонкие умы, далекие от всякой тривиальности, отыскивают часто путем разных изворотов и горных тропинок какую-нибудь тривиальность и очень радуются изумлению умов менее тонких.

215

Мораль ученых. — Планомерное и быстрое развитие науки возможно только в том случае, если каждый в отдельности не будет относиться с чрезмерным недоверием к другим и не станет проверять их утверждения и



вычисления в областях, чуждых ему. Зато в своей области каждый должен иметь в высшей степени недоверчивых соперников, которые самым строгим образом наблюдали бы за ним. Честность республики ученых проистекает из этого «умеренного недоверия» и «крайнего недоверия».

216

Причина бесплодия. — Бывают люди высокодаровитые, которые только потому остаются бесплодными, что в силу слабости темперамента слишком нетерпеливы, чтобы выждать свою беременность.

217

Извращенность мира слез. — Постоянные огорчения, которые являются для человека плодом высокой культуры, извращают наконец природу настолько, что она переносит обыкновенно все безмолвно и стоически и находит слезы только для редких минут счастья, так что встречаются люди, принужденные плакать, даже когда наслаждаются отсутствием страдания; — их сердце бьется еще только для счастья.

218

Греки — толмачи. — Говоря о греках, мы невольно говорим в то же время о прошлом и настоящем; общеизвестная история их — это блестящее зеркало, которое всегда отражает что-нибудь, чего нет в самом зеркале. Мы пользуемся свободой говорить о них, чтобы иметь возможность умалчивать о других, чтобы они сами шепнули что-нибудь на ухо мыслящему читателю. Так, греки облегчают современному человеку выражение чего-нибудь затруднительного и трудновыразимого.

219

О приобретенном характере греков. — Благодаря знаменитой греческой ясности, прозрачности, простоте и порядку, благодаря их кристальной естественности и вместе с тем кристальной художественности мы легко склоняемся к мысли, что все эти качества достались им даром; что они не могли, напр., писать иначе, как превосходно, по утверждению Лихтенберга. Нет ничего, однако, опрометчивее и неправильнее этого суждения. История прозы, начиная с Горгия и до Демосфена, знаменует собою трудную и упорную борьбу к свету сквозь тьму, вычурность и безвкусию, борьбу, напоминающую героев, прокладывавших первые дороги чрез лесные дебри и болота. Диалог трагедий есть, в полном смысле слова, завоевание драматургов, т. е. его ясность и определенность противоречива прирожденной склонности народа к символам и аллегориям и нуждалась еще в подготовке приобретенной на стадии великой хоровой лирики. Точно также освобождение греков от азиатской помпы и туманности и достижение архитектурной ясности, как в целом, так и в частностях было завоеванием Гомера. И никому не казалось легким высказать что-нибудь с совершенной чистотой и ясностью: иначе кто восхищался бы эпиграммами Симонида, совершенно простыми, не украшенными ни позолоченными колкостями, ни арабесками остроумия, но отчетливо выражающими все, что ему нужно, с спокойствием солнца, а не с трепетным эффектом молнии. Так как стремление от прирожденных сумерек к свету является собственно греческим, то народ ликует, внимая лаконическим сентенциям, сжатому языку элегий и изречениям мудрецов. По этой же причине у греков пользовались такою любовью и нравоучения в стихах, которые нам кажутся отвратительными: они ценили в них победу над опасностями метра и над туманностью, свойственной поэзии. Простота, сжатость, трезвость были приобретенными, а не природными качествами народа. Над греками постоянно висела опасность вырождения в азиатское, и действительно от времени до времени по Греции разливался словно прорвавшийся поток мистических настроений, элементарной дикости и тьмы. Мы видим, как она покрывается их волнами, как Европа смыта и затоплена, — ведь Европа была тогда очень мала, — но скоро эллины опять выплывают на поверхность, как отличные пловцы и водолазы, как народ Одиссея.

220

Языческое в собственном смысле. — Для изучающего греческий мир, быть может, наиболее странным кажется открытие, что греки устраивали от времени до времени нечто вроде празднеств также для всех своих страстей и дурных наклонностей, и даже организовали через посредство государственной власти распорядок празднований своего «слишком человеческого»: это и есть собственно языческий элемент в их мире, который никогда не был и никогда не может быть понят христианством, а всегда подвергался со стороны последнего ожесточенному противодействию и презрению.

Греки смотрели на «слишком человеческое», как на неизбежное и, вместо того, чтобы бранить его, старались признать за ним право второго порядка, давая ему определенное место в общественных обычаях и в культе, мало того, — все, что имеет силу в человеке, они называли божественным и записывали на сводах своего неба. Они не

отрицают естественных наклонностей, выражающихся в дурных качествах, но упорядочивают и ограничивают их определенным культом и определенными днями, изыскав достаточно мер предосторожности, чтобы сделать поток этих диких волн как можно менее опасным. Это корень всего нравственного свободомыслия древности. Всему злumu, сомнительному и животнo-отсталому, так же как Варвару, предшественнику греков, и Азиату, следы которого запечатлены были еще во глубине греческой души, они давали возможность умеренно проявляться, вовсе не стараясь их уничтожить. Государство охватывало всю систему этих распоряжков, так как оно зиждилось не на отдельных индивидуумах или кастах, а на обычных свойствах человеческой природы. В создании его греки проявили то удивительное чутье к типично-реальному, что помогло им впоследствии сделаться натуралистами, историками, географами и философами. Решающее значение при установлении государства и культа имел не нравственный закон духовенства или какой-либо касты, а широкий взгляд на реальность всего человеческого. — Откуда же у греков эта свобода, это понимание действительности? Может быть, они заимствовали их у Гомера и поэтов, ему предшествовавших; потому что именно поэты, характер которых отнюдь не отличался особенной справедливостью или мудростью, и питали сильную склонность ко всему действительному, ко всему активному, не желая целиком отрицать даже самое зло: им достаточно, чтобы оно было умеренно, не убивало, не отравляло бы все, его окружающее, т. е. они смотрели на это также, как греческие законодатели, и являлись их учителями и путеводителями.

221

Исключительные греки. — Умы глубокие, основательные и серьезные, встречались в Греции лишь в виде исключения: инстинкт народа клонился скорее к тому, чтобы считать все серьезное и основательное за род кривлянья. Не создавать, а заимствовать иностранные формы и придавать им художественный вид — вот дело греков, подражать не ради практического применения, а для художественного обмана, постоянно одерживать верх над навязанной серьезностью, упорядочивать, украшать, упрощать — вот их занятие, начиная с Гомера до софистов третьего и четвертого столетия, которые, как бы всецело состояли из внешних эффектов, трескучих фраз, вдохновенной жестикуляции и обращались исключительно к умам, жаждущим театральной звучности и эффектности. Измерьте же теперь величие тех исключительных греков, которыми создана наука! Кто рассказывает о них, рассказывает самую героическую часть истории человеческого духа.

222

Простота не первое и не последнее по времени. — В истории мистических представлений присочиняют многое о небывалой постепенности явлений, которые в действительности развивались не одно за другим и не одно из другого, а рядом и совершенно независимо друг от друга; многие все еще полагают, что самое старое и начальное должно быть самым простым. Между тем, много явлений в истории человечества возникали путем субстракции и деления, а не путем двоения, прироста и соединения. Напр., все еще верят до сих пор, в постепенное развитие изображения богов от неуклюжих деревянных и каменных истуканов до полного их очеловечения: а между тем на деле в эпоху, когда богов чтили в деревьях, бревнах, камнях и животных, изображение их в виде человека казалось бы страшным безбожием. Только поэтам удалось приучить к этому внутреннюю фантазию людей и склонить их к этим изображениям, влияя независимо от культа и чувства мистического ужаса; когда же одерживали верх более мистические настроения и моменты, и освободительное влияние поэтов отступало, то мистицизм склонялся на сторону чудовищного, страшного, как можно более нечеловечного. При том же многое из того, что решается вообразить себе внутренняя фантазия, если бы было облечено во внешнее, материализованное изображение, действовало бы болезненно: внутреннее око смелее и бесстыднее внешнего (отсюда проистекает трудность и даже невозможность переделки эпического материала в драматическую форму). Наиболее старинные кумиры указывают на богов и в то же время скрывают их в себе, намекают на них, но вовсе не показывают их всем в лицо. Конечно, ни один грек внутренне не представлял себе Аполлона в виде остроконечного бревна, а Эрота в виде пашенной глыбы; это были символы, которые должны были вызывать именно страх перед истинным проявлением богов. Это верно и относительно деревянных тумб, на которых отдельные члены иногда в чрезмерном числе изображены грубою резьбою: напр., Аполлон с его четырьмя руками и четырьмя ушами. В несовершенных или сверхсовершенных намеках кроется ужасающее благоговение, отгоняющее всякую мысль о человеческом или человекоподобном. Эпохи, в которые создаются такие изображения, вовсе не должны быть непременно эмбриональными ступенями развития искусства: ниоткуда не следует, чтобы там, где чтились такие кумиры, люди не умели бы говорить яснее и изображать нагляднее. Тут просто опасение все высказать. Идол есть изображение и в то же время покров божества. Между тем, вне культа, в обыденном мире борьбы все более растет радостное удивление перед победителем и вздымающиеся здесь волны устремляются, наконец, в море мистического чувства: во дворах храмов появляются статуи победителей, и благочестивый посетитель волей-неволей должен был мало-помалу приучить свой взор и свою душу к этому неизбежному изображению человеческой красоты и мощи, таким образом слились в один аккорд близкие в пространстве и в душе почитания божества и человека; только теперь страх перед антропоморфизацией божеств

исчезает и для пластического искусства открывается необозримое поле деятельности; но еще сохраняется одно ограничение, состоящее в том, что во всех языческих храмах архаически безобразная форма должна быть сохранена и осторожно воспроизводима. Однако эллин, приносящий посвящение или дар, мог теперь свободно отдаваться полному наслаждению, очеловечивая божества.

223

Куда нужно путешествовать. — Непосредственное самонаблюдение далеко недостаточно, чтобы познать самого себя; надо знать историю, потому что прошлое струится в нас множеством потоков; ведь мы сами только ощущение этого потока в каждый данный момент. И даже здесь, когда мы спускаемся в реку нашей, казалось бы, самой интимной и личной сущности, подтверждается истинность положения Гераклита, что нельзя дважды войти в ту же реку. И как верно то, что это мудрое изречение мало-помалу зачерствело, но не потеряло ни своей силы, ни своей питательности, так несомненно, что для понимания истории нужно видеть живые остатки исторических эпох — посещать, как посещал праотец Геродот, различные нации, представляющие из себя окаменелые ступени культуры, на которые можно прочно стать ногою, видеть дикие и полудикие народности, снявшие с себя европейское платье, или еще не надевшие его. Но есть еще более тонкое искусство и умение путешествовать, при котором не нужно разъезжать с места на место, делая тысячи миль. Последние три века, по-видимому, еще совсем близки нам со всей их культурной окраской и светопреломлениями, стоит их только отыскать. В иных семьях, даже в иных людях слои красиво и отчетливо лежат один на другом, — в других мы видим беспорядочность и скачки в пластах. Конечно, в глуши, в менее посещаемых горных долинах, в замкнутых кругах несомненно гораздо легче найти достойный пример старинных чувств, чем напр., в Берлине, где человек является на свет вымоченным и вываренным. Кто станет путем упражнения в такого рода путешествиях стоглавым Аргусом, тот повсюду будет сопровождать свою Ио, то есть свое ego, и находить следы путевых приключений этого развивающегося и превращающегося ego и в Египте и в Греции, в Византии и в Риме, во Франции и в Германии, в эпоху переселения народов и в эпоху их оседлости, во время ренессанса и реформации, на родине и за границей, даже на морях, в лесах, в растениях и на горных вершинах. И самопознание превратится таким образом во всеведение в смысле всего прошлого; в глазах самых свободных и дальновидных умов самоопределение и самовоспитание также точно становится всеопределением в смысле будущих судеб человечества.

224

Бальзам и яд. — Нельзя достаточно оценить важности того, что католичество было религией стареющего античного мира, что его предпосылкой является вырождение культурных народов, и что только на них оно могло и может действовать, как бальзам. В такие эпохи, когда глаза и уши полны грязи и уж не слышат больше голоса разума и философии, не видят больше воплощенной в жизни мудрости, называется ли она Эпикуром или Эпиктетом, в такие эпохи нужно действительно воздействие распятия и трубного гласа страшного суда, чтобы побудить такие народы к сколько-нибудь приличному существованию. Вспомните Рим Ювенала, эту ядовитую жабу с глазами Венеры, и тогда вы оцените важность появления креста перед миром, с уважением отнесетесь к тихой христианской общине, и будете ей благодарны за то, что она победила греко-римскую мировую державу. Большинство людей того времени уже рождались с поработенною душой и старческой чувственностью; каким счастьем было для таких людей встретить существа более духовные, чем телесные, как бы воплощавшие собою представление греков о тенях Аида; скромные, кроткие, ко всем относившиеся благожелательно, полные ожидания лучшей жизни и потому нетребовательные, молчаливо презиравшие и гордо терпевшие. Такое христианство является бальзамом даже для тех, кто переживает эти столетия в качестве их историка, — оно звучит как вечерний благовест доброй старины с ее разбитыми, усталыми, но все еще музыкальными колоколами! — Но для молодых, свежих, варварских народов католичество было напротив — ядом! Насаждение его в геройские, младенческие и животные души древних германцев служило отравой их; в результате должно было получиться огромное химическое брожение и разложение, кипучее волнение чувств и мыслей, образование самых причудливых представлений и в конце концов основательное ослабление таких варварских народов. — Правда, не будь этого ослабления, что же осталось бы нам от греческой культуры? От всего культурного наследия человечества? Ведь варвары, нетронутые католицизмом, превосходно умели обходиться безо всякой культуры, что с ужасающей ясностью доказали языческие завоеватели романизированной Британии. Католичество невольно должно было содействовать бессмертию античного мира. — Однако, остается все же встречный вопрос и возможность встречного вычисления выгод и невыгод: не в состоянии ли был бы тот или другой из этих свежих народов, напр., немецкий, создать при отсутствии ослабления упомянутым ядом собственную высокую культуру, совершенно иную, новую, о которой человечество потеряло теперь даже самую тень представления?

225

Вера дарует блаженство и проклятие. — Невольно задаешь себе вопрос: необходимо ли действительное существование предмета верования, когда уже одной веры в его существование достаточно, чтобы привести к тем же результатам. Припомним, например, что было в средние века с ведьмами, хотя ведьм и не бывало, но ужасающие результаты веры в их существование были совершенно такие же, как если бы они существовали в действительности. Хотя вера нигде еще не двигала настоящими горами, — но она может воздвигнуть гору там, где ее нет.

226

Регенсбургская трагикомедия. — Паясничество фортуны то тут, то там проявляется иногда с ужасающей ясностью, — так иногда она в несколько дней, в одном месте привязывает к условиям и настроениям одной личности канат ближайших столетий, на котором и заставят их плясать. В таком отношении находится новейшая немецкая история ко дням известного диспута в Регенсбурге: одно время казалось, что мирный исход церковных и нравственных споров без религиозных войн и контрреформации был обеспечен, а вместе с ним и единство немецкой нации; глубокий и кроткий дух Контарини осенил на мгновение спор, осенил победоносно, как представитель зрелого Итальянского благочестия, отражая на своих крыльях лучи рассвета духовной свободы. Но окостенелая голова Лютера, полная подозрений и страхов, противилась: он не хотел верить положению, исходившему из уст итальянца, потому что положение это казалось ему его величайшим открытием и лучшим изречением: а между тем Контарини, как известно, додумался до него гораздо ранее и в глубокой тишине распространил его по всей Италии. Лютеру в этом единомыслии мерещились козни дьявола, и он всеми силами противился примирению: этим он много содействовал успеху намерений врагов империи. — И чтобы усилить впечатление этой ужасающей шутки, стоит только припомнить эти все положения, относительно которых велся в Регенсбурге спор, не могут быть доказаны и теперь признаны лежащими вне границ какого бы то ни было спора: а между тем из-за них, из-за этих вопросов, чисто мистических, мир был объят пламенем. — В конце концов можно сказать только одно, что тогда забили такие могучие источники, без которых не могли бы двигаться с нужною силой все мельницы новейшего мира. Но ведь дело идет прежде всего о силе, а уж потом о правде, да и то еще очередь последней наступает очень и очень не скоро; не правда ли, мои милые постепеновцы?

227

Заблуждение Гёте. — Гёте является выдающимся исключением среди великих художников в том отношении, что не мог жить в ограниченном, отведенном кругу и относиться к нему как к чему-то исключительно существенному и важному, безусловному и окончательному как для него, так и для всего мира. Два раза предполагал он, что обладает чем-то более высоким, чем обладал в действительности и ошибался; это случилось во второй половине его жизни, когда он насквозь проникся убеждением, что представляет из себя одного из величайших научных умов и просветителей. Первый же раз, еще в первой половине жизни, когда он мнил себя не только поэтом, но и чем-то более возвышенным, и тоже ошибся. Он воображал, будто природа хотела создать из него художника-пластика, это была та жгучая и мучительная тайна, которая и повлекла его наконец в Италию, чтобы хорошенько выколотить из него этот самообман и заставить его принести ему всевозможные жертвы. Но наконец этот благоразумный гений, честно подавив в себе все обманчивое, открыл, что верую в это призвание его дразнил дух гордости, и что он должен отрешиться от глубочайшей своей страсти и распрощаться с ней. Болезненно режущее и мучительное убеждение, что час прощания пробил, нашло полный отзвук в настроениях Тассо: на нем, на этом «усиленном Вертере» лежит предчувствие чего-то худшего, чем смерть, словно что-то говорит: «Все кончено с этим признанием; как можно жить дальше, не став безумным». Эти две величайшие жизненные ошибки дали Гёте возможность так непринужденно, почти капризно относиться к поэзии, в отношении чисто литературном, единственно известном в то время. За исключением того промежутка времени, когда Шиллер, бедный Шиллер — без настоящего и без будущего, — нарушил его воздержанность по отношению к поэзии и его страх ко всему литературному сожительству и ремеслу, Гёте напоминал Грека, изредка посещающего свою возлюбленную, в которой он готов был предполагать богиню и которую не умеет назвать настоящим именем. Близость природы и пластики заметна во всех его произведениях: черты этих носящихся перед ним фигур, которые он принимал, быть может, за превращение все той же богини, невольно и без его ведома становились чертами всех созданий его искусства. Без уклонений в область заблуждений он не был бы Гёте, не был бы единственным немецким художником-писателем, который не устарел, — а не устарел он именно потому, что совсем не хотел быть немцем и писателем по призванию.

228

Путешествующие и их степени. — Надо различать пять степеней путешествующих: самая низшая степень это те, которые путешествуют, чтобы показать себя: они путешествуют точно слепые; вторые действительно смотрят

свет; третьи перенимают кое-что из того, что видят; четвертым пережитое ими западает глубоко в душу и они увозят его с собой домой; наконец, существует немного людей величайшей духовной силы, которые, все переживши и глубоко восприняв в себя, должны по возвращении домой неизбежно выразить это в поступках или произведениях. Подобно этим пяти родам путешествующих проходят свой жизненный путь все люди: самые низменные чисто пассивно, самые великие как люди активные, переживающие без остатка все свои внутренние процессы.

229

Восхождение. — Как только человек подымется выше удивлявшихся ему, то последним кажется, что он опустился и пал: ведь они все время думали, что находятся на высоте вместе с ним (хотя бы и благодаря ему).

230

Мера и середина. — Лучше всего не заговаривать о двух одинаково возвышенных вещах: мере и середине. Лишь не многие знают их силу и их свойства, достигнув этого знания мистическим путем внутренних переживаний и переворотов: но они чтут в них нечто божественное и считают громкие речи о них неуместными. Все остальные едва слушают, когда речь пойдет о них, они думают, что это синонимы скуки и посредственности; исключение разве составляют только слышавшие когда-то манящие звуки их царства, но заткнувшие уши, чтобы не вслушиваться в них. Напоминание об этом приводит их в гнев и раздражение.

231

Гуманность в отношениях между близкими. — «Если ты пойдешь на восток, то я пойду на запад», так чувствовать есть высокий признак гуманности при более тесных отношениях. Без таких чувств дружба, отношение ученика к учителю и т. п. рано или поздно непременно превратятся в лицемерие.

232

Глубины. — Глубокомысленные люди чувствуют себя актерами по отношению к окружающим их людям, потому что для того, чтобы быть понятыми последними, им приходится надевать личину поверхностности.

233

Для тех, кто презирает человеческое стадо. — Кто смотрит на человечество, как на стадо, и как можно скорее бежит от него, того оно несомненно догонит и будет толкать рогами.

234

Главный проступок против тщеславия. — Когда одно лицо дает другому возможность блестяще изложить в обществе свои познания, чувства и опыт, то ставит себя этим как бы на более возвышенную ступень и наносит удар тщеславию, желая даже умиротворить его; этого не бывает только, когда старшинство между ними является безусловно установленным.

235

Разочарование. — Когда о каком-нибудь лице громко свидетельствуют долгая и деятельная жизнь, речи и сочинения, то обыкновенно личное знакомство с ним ведет к разочарованию по двум причинам: во-первых, потому что мы рассчитываем на слишком многое от короткого промежутка времени, — а именно, что во время свиданий проявится все, что обнаружилось лишь в течение долгой жизни; во-вторых, потому что всеми признанный человек не старается добиваться признания каждого в отдельности. Он слишком небрежен, а мы слишком внимательны.

236

Два источника доброты. — Относиться ко всем людям одинаково благожелательно, быть безразлично добрым к каждому может как тот, кто глубоко презирает людей, так и тот, кто глубоко их любит.

237

Монолог странника в горах. — Существуют очевидные признаки того, что ты подвинулся вперед и вверх: вокруг тебя свободнее, чем прежде, горизонты расширились, ветер стал прохладнее и вместе с тем мягче — ведь ты отучился от глупости смешивать мягкость с теплотою, — твоя походка живее и увереннее, твое мужество, как и благоразумие, возросли; на всех этих основаниях твой путь может стать уединеннее и во всяком случае опаснее, чем прежде, конечно, не в той мере, как полагают люди видевшие, как ты, странник, шагал, выступая из туманной долины и направляясь к горным вершинам.

238

За исключением нашего ближнего. — Очевидно, только моя голова неправильно посажена мне на плечи, потому что все другие гораздо лучше знают, что мне нужно делать и чего избегать: только сам я, жалкий безумец, не могу ничего посоветовать себе! Не похожи ли мы все на статуи, которым приставили чужие головы? Неправда ли, любезный сосед? Ах нет, ты как раз составляешь исключение.

239

Осторожность. — С людьми, нецеремонно относящимися ко всему личному, лучше не иметь никаких дел или заранее надевать на них кандалы приличий.

240

Желание казаться тщеславным. — Высказывать свои лучшие мысли в разговоре с незнакомым или малознакомым человеком, говорить ему о своих знатных связях, о выдающихся случаях в своей жизни и в своих путешествиях, — служит признаком отсутствия гордости или по крайней мере желания скрыть ее. Тщеславие служит для гордости маской вежливости.

241

Хорошая дружба. — Хорошая дружба возникает, когда человек уважает другого больше чем себя, когда он кроме того сильно любит его, хотя и не так горячо, как себя, и когда наконец для облегчения отношений умеет придать всему оттенок, или пушок интимности, благоразумно воздерживаясь однако от настоящей интимности и смешения «себя с ним».

242

Друзья в качестве привидений. — Если мы сильно изменились, то наши не изменившиеся друзья становятся привидениями нашего собственного прошлого: голоса их звучат грозно, словно голоса призраков, и мы как будто слышим самих себя, только когда мы были более молоды, не так мягки и не так зрелы.

243

Один глаз и два взгляда. — Те лица, которые в совершенстве владеют игрою льстивых и заискивающих взоров, вследствие частого чувства унижения и скрытой мести обладают и наглым взглядом.

244

Голубая даль. — «Всю жизнь как дитя», это очень трогательное суждение, но лишь издали; рассмотрев и расследовав поближе, всегда скажешь: «всю жизнь был мальчишкой».

245

Выгода и невыгода в одном и том же недоразумении. — Когда тонкий ум молчит в затруднительном случае, то грубые умы считают его молчание признаком гордости и боятся; им очень было бы по душе, если бы они поняли, что это было затруднение.

246

Мудрец, притворяющийся дураком. — Человеколюбие заставляет иногда мудреца притворяться возбужденным, разгневанным, или обрадованным, чтобы не причинять окружающим боли спокойствием и рассудительностью своего истинного характера.

247

Принуждать себя быть внимательным. — Если кто-нибудь в обхождении и разговоре с нами принуждает себя быть внимательным, то мы имеем верный признак того, что он нас не любит или разлюбил.

248

Путь к христианской добродетели. — Учиться у своих врагов есть лучшее средство к тому, чтобы полюбить их, потому что это побуждает нас к благодарности.

249

Военная хитрость назойливого человека. — Назойливый человек платит нам золотой монетой за нашу условную монету и тем заставляет нас относиться к нашим условностям, как к ошибке, а к нему, как к исключению.

250

Основание к антипатии. — Мы становимся враждебны к какому-нибудь писателю или художнику не только за то, что он обошел нас, но и за то, что он нашел нужным употребить для этого более тонкие средства.

251

Разлука. — Родство и единство душ узнается не по их слиянию, а по тому, как они разлучаются.

252

Silentium. — Не надо говорить о своих друзьях, иначе можно разговорами погубить чувство дружеского расположения.

253

Невежливость. — Невежливость часто бывает признаком неуклюжей робости, которая вследствие неожиданности теряет голову и хочет прикрыть это грубостью.

254

Ошибка в расчете на честность. — Часто мы поверяем какой-нибудь еще не высказанный нами секрет новым знакомым; глупо рассчитывая, что доказательство нашего доверия будет лучшей связью, какой мы можем скрепить новую дружбу. Но они слишком мало знают нас, чтобы оценить как следует приносимую нами жертву откровенности, и выдают нашу тайну другим, не помышляя о предательстве; благодаря этому мы в конце концов можем лишиться наших старых друзей.

255

В передней благоволения. — Люди, долго удерживаемые в передней благоволения, начинают наконец бродить или закисать.

256

Предостережение презираемым. — Если человек очевидно пал в уважении других, то он должен крепко держаться за пристыженность в обществе, иначе все поймут, что он пал в собственном уважении. Цинизм в обществе указывает на то, что такой человек наедине с собою относится к себе, как к собаке.

257

Иное незнание облагораживает. — Для снискания уважения тех, от кого оно зависит, бывает иногда выгоднее делать вид, что не понимаешь иных вещей. Незнание тоже доставляет привилегии.

258

Противники грации. — Люди нетерпеливые и высокомерные не любят грации и видят в ней живой упрек себе, потому что грация есть терпимость сердца, проявляющаяся в движениях и выражениях лица.

259

Свидание после разлуки. — Когда старинные друзья вновь встречаются, то часто притворяются, будто заинтересованы вещами, к которым они уже давно равнодушны: иногда оба замечают это, но из печального сомнения боятся сбросить покрывало. Так возникают разговоры, словно из царства смерти.

260

Нужно приобретать только трудолюбивых друзей. — Праздный человек опасен для друзей, потому что, имея мало дела, он начинает болтать о том, что делают и чего не делают его друзья, вмешивается в их дела и становится им в тягость: поэтому умнее всего заключать дружбу только с трудолюбивыми людьми.

261

Одно оружие вдвое лучше двух. — Если один защищает что-нибудь и головою и сердцем, а другой только головою, — то борьба неравна: первый имеет против себя солнце и ветер, оба его оружия мешают друг другу, ценность его понижается в глазах истины. Зато победа, одержанная вторым, редко бывает по сердцу посторонним зрителям, и такие победители не пользуются любовью.

262

Глубокое и мутное. — Публика смешивает часто того, кто ловит рыбу в мутной воде, с тем, кто черпает из глубины.

263

Демонстрировать свое тщеславие на друзьях и недругах. — Одни скверно относятся даже к друзьям в присутствии посторонних свидетелей, которым они хотят показать свое превосходство; другие же преувеличивают качества своих врагов, чтобы потом с гордостью указать на то, что они их достойные противники.

264

Охлаждение. — Сердечный жар сопровождается обыкновенно болезнью ума и суждения. Если человеку на время нужно в этом отношении быть здоровым, то он должен знать, что ему охладить: и пусть не боится за будущность своего сердца! Кто вообще способен воспламениться, тот станет опять горячим, и к нему снова вернется его пот.

265

Смесь чувств. — Женщины и самолюбивые художники испытывают по отношению к науке чувство, смешанное из зависти и сентиментальности.

266

Когда бывает наибольшая опасность. — Редко люди ломают ногу во время трудного восхождения по пути жизни, — но это чаще случается с ними, когда они начинают облегчать себе эту трудность и выискивать более удобные дороги.

267

Не слишком рано. — Надо заботиться о том, чтобы не сделаться слишком рано острым, а то рано отощешь.

268

Радость вследствие противоречия. — Хороший воспитатель знает случаи, когда он вправе гордиться



воспитанником, если тот остается вопреки ему верен себе: это хорошо именно в тех случаях, когда юноша не должен понимать зрелого мужа, или может понимать его только в ущерб себе.

269

Опыт честности. — Когда юноша хочет сделаться честнее, чем он был до сих пор, то выбирает себе в жертву какого-нибудь общепризнанно честного человека, на которого и начинает нападать, имея в виду доругаться до его нравственной высоты — с той затаенной мыслью, что этот первый опыт во всяком случае не опасен: не может же тот проучить наглость честного человека.

270

Вечное дитя. — Мы думаем, что сказки и игры принадлежат детству: какая близорукость! Как будто мы можем обходиться без сказок и игр в каком бы то ни было возрасте! Правда, мы называем и воспринимаем их иначе, но это только доказывает, что на деле они все те же: ведь и дитя считает свою игру — работой, а свои сказки — правдой. Пусть краткость жизни служит нам предостережением против педантичного разграничения возрастов, — как будто каждый вносит что-то новое, — и пусть какой-нибудь поэт выведет двухсотлетнего старца, живущего действительно без игр и сказок.

271

Всякая философия есть философия известного возраста. — Возраст, в котором философ обрел свое учение, звучит в нем, и он не избегнет этого, как бы не возносился он над веком и временем. Так философия Шопенгауэра остается отражением горячий и тоскливой молодости: старые люди не могут так мыслить; философия Платона напоминает середину тридцатых годов, когда обыкновенно происходит столкновение горячего и холодного потоков, порождающее водяную пыль и пыльные облака, а при благоприятных условиях и при солнечном свете, очаровательную радугу.

272

О женском уме. — Духовная сила женщины доказывается лучше всего, когда она из любви приносит свой ум в жертву мужчине и его гению, несмотря на то, что в новой, первоначально чуждой для нее области, куда влечет ее способ мышления мужчины, у нее сейчас же вырастает второй ум.

273

Возвышение и унижение в отношениях между полами. — Буря страсти вздымает иногда мужчину на такую высоту, где страсть умолкает, где он действительно любит и живет скорее лучшим существом, чем лучшей волей. Наоборот, хорошая женщина из истинной любви опускается до страсти и унижается перед собой. Последнее является самой трогательной чертой, — в представлении о хорошем браке.

274

Женщина выполняет, мужчина обещает. — Природа показывает в женщине, какой высоты достигла она до сих пор в деле совершенствования человеческого образа; в мужчине — те препятствия, которые ей пришлось при этом преодолеть, а также и все, что она имеет еще в виду по отношению к человеку. Совершенная женщина любой эпохи — есть досуг Творца в каждый седьмой день культуры, отдых художника во время своей работы.

275

Перенос. — Когда духовные силы направлены на господство над безмерностью аффектов, то это достигается, быть может, с тем неприятным результатом, что безмерность переносится на самый дух и он начинает быть расточительным в мышлении и стремлении к познанию.

276

Смех как предательство. — Мерию образованности женщины может служить то, как и в каких случаях она смеется, в звуке ее смеха отражается вся ее натура, а у очень образованных женщин, быть может, даже неразложимый остаток их натуры. Поэтому знаток людей сказал бы, как Гораций, только на другом основании: *ridete puellae*.

277

Из истории юной души. — В отношении к одному и тому же лицу юноши часто меняют преданность на наглость: это потому, что они чтут или презируют в людях только самих себя, а. относительно себя постоянно колеблются между обоими крайностями, пока не найдут в жизненном опыте меру своим стремлениям и силам.

278

К исправлению мира. — Если бы можно было помешать размножению людей недовольных, меланхоличных и угрюмых, то земля словно волшебством превратилась бы в райские сады. Это положение относится к практической философии женского пола.

279

Доверять чувству. — Женственное выражение: «доверять своему чувству» означает не более как то, что «каждый должен есть то, что ему по вкусу». Для умеренных характеров это может быть хорошее повседневное правило. Но остальные должны следовать другому правилу, гласящему: «питайся не только ртом, но и головой, иначе обжорство рта погубит тебя».

280

Жестокая мысль, навеваемая любовью. — Каждая сильная любовь сопровождается жестокой мыслью убить предмет любви, чтобы раз навсегда не быть игрушкой его измены, потому что любовь боится измены больше, чем смерти.

281

Двери. — Все, что переживается или изучается, является дверью как для ребенка, так и для взрослого. Но для первого это входная дверь, а для второго — проходная.

282

Сострадательные женщины. — Сострадание болтливой женщины выносит одр больного на открытый рынок.

283

Преждевременные заслуги. — Кто имеет за собою заслуги в раннем возрасте, лишается обыкновенно скромности по отношению к старым и старшим и тем исключает себя, к величайшей своей невыгоде, из общества людей зрелых и помогающих созреть: благодаря этому, он, несмотря на ранние заслуги, дольше других остается мальчишески незрелым и назойливым.

284

Огульные души. — Если художнику или женщине не возражают, то они считают, что возражения невозможны. Соединение уважения в десяти пунктах и молчаливого неодобрения в десяти других они считают невозможным, потому что сами огульные души.

285

Юные таланты. — По отношению к молодым талантам надо как можно строже придерживаться гетевского принципа, что зачастую немисливо искоренять ошибки, не повредив истине. Их состояние напоминает недомогания во время беременности и порождает странные причуды; приходится удовлетворять их и все прощать им ради ожидаемого плода их беременности. Правда, для того, чтобы играть роль сиделки у постели этих странных больных, надо постигнуть трудное искусство добровольного самоуничтожения.

286

Отвращение к правде. — Женщины так созданы, что им отвратительна всякая правда (относительно мужчин, любви, ребенка, общества, цели жизни). Они даже стараются мстить тем, кто раскрывает им глаза.

287

Источник великой любви. — Как возникает неожиданная, глубокая, искренняя страсть мужчины к женщине? Она меньше всего порождается одной чувственностью; но когда мужчина видит слабость, нужду в помощи, соединенные с гордостью в одном и том же существе, то в нем душа словно готова вскипеть через край: он и тронут и в то же время оскорблен. В этом и заключается источник великой любви.

288

Чистота. — Чувство чистоты в ребенке надо доводить до степени страсти. Позднее оно путем новых превращений разовьется почти до степени любой добродетели и, наконец, явится заменой какого угодно таланта, служа светлым источником непорочности, умеренности, доброты и силы характера, внося собой счастье, которое и распространяется на все его окружающее.

289

О тщеславных стариках. — Глубокомыслие — свойство юноши, ясность мысли — свойство старости. Если, несмотря на это, старики говорят или пишут в духе глубокомыслия, то они делают это из тщеславия, думая, что приобретут таким образом очарование всего юношеского, мечтательного, развивающегося, полного предчувствий и надежд.

290

Употребление нового. — Мужчина пользуется всем вновь изученным или пережитым, как плугом или как оружием, женщина же — как украшением.

291

Манера обоих полов быть правыми. — Если вы признаете, что женщина права, то она не может отказаться от удовольствия с триумфом придавить ногой шею побежденного, считая, что должна использовать победу. Мужчина же по отношению к другому мужчине обыкновенно стыдится в таких случаях своей правоты. Зато мужчина привык к победам, а для женщины победа исключение.

292

Отречение в стремлении к прекрасному. — Чтобы быть прекрасной, женщина должна отказаться от стремления казаться красивой, то есть в девяносто девяти случаях, где она могла бы нравиться, она должна пренебречь этим, отказаться нравиться, чтобы вызвать восторг человека, дверь души которого достаточно широка, чтобы воспринять великое.

293

Непонятно, невыносимо. — Для юноши непонятно, что более зрелые люди тоже переживали пору восторгов, пробуждений чувств, переливов мысли и умственного возбуждения: его оскорбляет даже мысль, что все это могло существовать два раза, — но когда он слышит, что для того, чтобы ему стать плодотворным, этот цвет его должен облететь, то настраивается совсем враждебно.

294

Партия с миной страдальцы. — Каждая партия, умеющая соорудить страдальческую мину, привлекая к себе сердца добродушных людей и сама приобретает таким образом добродушную физиономию, что ей весьма выгодно.

295

Утверждать надежнее, чем доказывать. — Утверждение действует сильнее аргумента, по крайней мере на большинство людей, потому что аргумент возбуждает недоверие. Поэтому народные ораторы стараются подкрепить аргументы своей партии утверждениями.

Кто лучше утаивает. — Люди, имеющие постоянный успех, обладают глубокой способностью придавать своим ошибкам и слабостям вид маленькой силы, для чего они должны необыкновенно хорошо и ясно сознавать их.

От времени до времени. — Он сел у городских ворот и заявил прохожему, что это именно городские ворота. Тот ответил, что хотя это чистая правда, однако, если человек хочет заслужить благодарность, то не должен быть чересчур правым. «О! — возразил он, — мне и не надо благодарности, но приятно от времени до времени не только быть правым, но и выслушать признание своей правоты».

Добродетель — не немецкое изобретение. — Разве благородство и отсутствие зависти у Гёте, отшельнический аскетизм Бетховена, прелесть и грация души Моцарта, несокрушимое мужество и законная свобода Генделя, тихая светлая внутренняя жизнь Баха, которому незачем даже было отказываться от блеска и успеха, — разве все это не немецкие добродетели? А если нет, то они указывают, к чему должны стремиться немцы и чего они могут достигнуть.

*Pia fraus* или нечто иное? — Может быть, я и ошибаюсь, но мне кажется, что в современной Германии лицемерие двоякого рода стало для всякого обязанностью минуты: требуется патриотизм из имперски-политических видов и религиозность в силу социальных опасений; притом только на словах, в жестах и главным образом в умении молчать. Внешний вид — вот что нынче имеет цену, вот за что дорого платится; зрители — вот для кого нация старается корчить мину с немецко-христианскими морщинами.

Насколько половина может быть лучше целого даже в добром. — Во всех вещах, где люди рассчитывают на долговечность и нуждаются в услугах многих лиц, создавать нечто менее хорошее должно стать общим правилом, хотя бы организатор прекрасно знал бы и лучшее (и более трудное), но он должен рассчитывать на то, чтобы никогда не оказывалось недостатка в людях, понимающих его, а он знает, что средние силы являются общим правилом. Юноша редко углубляется в это и думает, что он, как новатор, удивительно прав, и считает слепоту других прямо поразительной.

Человек партии. — Настоящий человек партии не учится — он только узнает и направляет; между тем как Солон, который никогда не был человеком партии, но преследовал свои цели, стоя рядом или выше партий, и даже восставая против них, был известным отцом того изречения, в котором сказала неиссякаемая мощь Афин: «Я становлюсь стар, но продолжаю учиться».

Немецкое по мнению Гёте. — Невыносимы те люди, — и в них нельзя даже допустить чего бы то ни было хорошего, — которые, обладая свободной мыслью, не замечают, что у них нет свободы вкуса и духа. Как раз эта черта, по мнению Гёте, является по преимуществу немецкой. Мнение и пример Гёте указывают, что если немец хочет быть полезным, или хотя бы сносным для других наций, — то должен быть больше, чем немцем; они указывают и на то, в какую сторону должен немец направить свои усилия, чтобы превзойти себя и расширить свою личность.

Когда необходимо остановиться. — Когда массы начинают неистовствовать и ум их помрачается, то людям, не вполне уверенным в здоровье своей души, не мешает стать в проезжие ворота и всматриваться в настроение толпы.

Революционеры и собственники. — Единственное средство против социализма, которое еще остается в вашей власти, это не относиться к нему вызывающим образом, т. е. жить умеренно и скромно, по возможности устраняя зрелище всевозможной роскоши и идя на помощь государству в его стремлении обложить чувствительным налогом все излишнее и похожее на роскошь. Вы не хотите этого средства? Но, в таком случае, господа богатые буржуа, называющие себя либералами, признайтесь же, что в социалистах вы находите ужасным и угрожающим то самое влечение сердца, которое вы признаете естественным в себе, как что-то совершенно иное. Если бы вы, каковы вы есть, не имели бы состояния и не заботились бы о его поддержании — то сделались бы тоже социалистами: между вами и ими единственную разницу составляет имущество. Да, если вы хотите во что бы то ни стало одержать победу над врагами вашего благосостояния, — то должны раньше победить самих себя. И если бы это благосостояние было действительно счастьем! Оно не было бы таким внешним, таким вызывающим, вы были бы сострадательнее, благожелательнее, богаче помощью и старались бы о большем равенстве. Но ваши низменные радости фальшивы и годятся только, чтобы ими рисоваться и выказывать свое преимущество (благо другие не имеют их и завидуют вам), а не заключаются в чувстве полноты сил и росте их: ваши жилища, платья, экипажи, выставки в магазинах, ваша изысканная пища и сервировка, ваши шумные оперные и музыкальные восторги, наконец, ваши женщины, примазанные и вылощенные, но не из благородного металла, позолоченные, но без звона золота, избранные вами на показ и отдавшиеся вам на показ, — вот ядовитые носители того народного недуга, который все быстрее распространяется в массах в виде сердечной чесотки социализма и имеет свое начало, свое свитое гнездо — в вас! И кто же может теперь задержать эту чуму?

305

Тактика партий. — Если партия замечает, что один из ее безусловных сторонников делается условным, то она не выносит этого и старается путем разных обид и оскорблений довести его до решительного отпадения и обратить его в противника: это делается вследствие той честолюбивой мысли, что человек, который находит в партии лишь относительные достоинства и позволяет себе высказываться за и против, оценивать и судить ее, опаснее для нее безусловного врага.

306

К усилению партии. — Кто хочет внутренне усилить какую-нибудь партию, должен доставить ей возможность безвинно пострадать; этим способом она накапливает себе капитал в виде спокойной совести, чего ей до тех пор, может быть, не доставало.

307

Заботиться о своем прошлом. — Люди в сущности чтут только издавна установленное, медленно развившееся, поэтому кто хочет жить в потомстве, должен позаботиться не только о своем потомстве, но и о своем прошлом. Всякого рода тираны (а также тираны художники и политики) насилуют ради этого историю, чтобы она казалась подготовкой и рядом ступеней, ведущих к ним.

308

Партийные писатели. — Бой в литавры, который так нравится молодым писателям, находящимся на службе той или другой партии, звучит для человека, находящегося вне партий, как звон цепей, и возбуждает скорее сострадание, чем удивление.

309

Быть против себя. — Наши сторонники никогда не простят нам, если мы обратимся против самих себя; в их глазах это значит не только отвергнуть их любовь, но и скомпрометировать их ум.

310

Опасность в богатстве. — Имуществом должен обладать только тот, кто обладает умом: в остальных руках собственность является общественной опасностью. Богач, который не умеет употреблять свободного времени, доставляемого ему его состоянием, будет постоянно стремиться к увеличению своего богатства; это стремление будет его поддержкой, его военной хитростью в борьбе со скукой. Таким путем из сравнительно умеренного состояния, совершенно достаточного для духовно развитого человека, возникает колоссальное богатство; оно является прямым результатом духовной несамостоятельности и нищеты. Но теперь богач представляется в

совершенно ином неожиданном виде, чем можно было предполагать, судя по его жалкому началу, — теперь он может маскироваться образованностью и искусством и в состоянии купить себе эту маску. Этим он возбуждает зависть бедных и необразованных, — которые всегда завидуют образованию и не отличают маску от настоящего лица, — и таким путем подготавливается социальный переворот, потому что позолоченная грубость и показная надутость в так называемых «наслаждениях культурой» внушают мысль, что «все дело в деньгах», между тем, хотя эти наслаждения культурой отчасти и зависят от денег, но в гораздо большей степени от ума.

311

Наслаждения в господстве и подчинении. — Господство доставляет наслаждение, также как и подчинение: первое — пока оно не обратилось еще в привычку, второе — когда уже обратилось в нее. Старые слуги у новых господ доставляют друг другу много взаимных радостей.

312

Честолюбие потерянного поста. — Существует честолюбие потерянного поста, которое побуждает партию подвергаться величайшим опасностям.

313

.....

314

Обычай партии. — Каждая партия старается умалить значение всего выдающегося, что переросло ее рамки. Если ей это не удастся, то она относится тем враждебнее к выдающемуся, чем оно лучше.

315

Становиться простым. — От того, кто отдается течению событий, остается все меньше и меньше. Поэтому великие политики становятся иногда совершенно пустыми людьми, хотя бы прежде и были содержательны и богаты.

316

Желательные враги. — Социалистические движения скорее приятны, чем ужасны династическим правительствам, потому что дают в их руки право и меч исключительных мероприятий, которыми они могут поражать тех, кто действительно внушает им страх, — демократов и противников династий, которые ко всему, что эти правительства явно ненавидят, питают открытую склонность и расположение и должны поэтому скрывать свою душу.

317

Имуществом владеть. — Имущество делает человека независимее и свободнее только до известной степени; еще шаг — и имущество становится господином, а владелец — рабом: как раб, должен он отдавать ему свое время, свои мысли, должен иметь определенные связи, быть пригвожденным к определенному месту, срастись с определенным государством, и все это, быть может, против своего внутреннего и наиболее существенного желания.

318

О господстве знающих. — Легко, до смешного легко, установить образец избрания законодательных собраний. Сначала справедливые и заслуживающие доверия люди страны, которые являются вместе с тем знатоками и дельцами в какой-нибудь специальности, должны были бы выделяться путем взаимной проверки и взаимного признания. Из них должны были бы вновь выделяться, путем более тесного избрания, специалисты различных областей и перворазрядные знатоки, опять-таки путем взаимного признания и ручательства. Если бы законодательное собрание состояло из таких людей, то в каждом отдельном случае решающими были бы лишь голоса и суждения специалистов и экспертов, а честность всех остальных должна быть настолько велика и настолько стать простым делом приличия, чтобы предоставлять исключительное право голосования первым, так чтобы закон исходил в строжайшем смысле из разума разумеющих дело. Теперь же голосуют партии, и при

каждом голосовании неизбежны сотни бесстыдных совестей — мы разумею людей плохо осведомленных, неспособных правильно рассуждать, слепо поддакивающих, подговоренных и увлеченных. Ничто так не унижает достоинства каждого нового закона, как эта приставшая к нему постыдная окраска нечестности, являющаяся необходимым результатом всякого партийного голосования. Но, как выше сказано, легко, до смешного легко, установить подобный образец: однако никакая власть в мире не в силах теперь осуществить такого лучшего строя, пока признание пользы знания и знающих не станет достоянием даже самых враждебно настроенных людей и не одержит победы над теперешней верой в большинство. И в смысле этого будущего мы выставляем наш лозунг: «побольше уважения к знающим, и долой все партии!»

319

О народе мыслителей (или плохого мышления). — Неясность, неопределенность, неустойчивость, элементарность, индуктивность, чтобы неясные понятия обозначать неопределенными именами, — приписываемые немцам — являются, если бы они и действительно имелись на лицо, доказательством того, что их культура сильно отстала и все еще отзывается атмосферой средних веков. Правда, в этой отсталости имеются и кое-какие выгодные стороны; с этими качествами, если бы, повторяем, они действительно были на лицо, немцы способны были бы кое к чему, и к пониманию многого из того, на что у других наций уже не хватает сил. Конечно, многое погибнет с гибелью недостатка разумности, черты общей всем перечисленным качествам: но тут не может быть потерь без громадных выгод, так что нет основания для каких бы то ни было жалоб, и жаловаться могут разве только те, кто, подобно детям и лакомкам, желает наслаждаться одновременно продуктами всех времен года.

320

Совы, корчащие из себя афинян. — У правительств больших государств имеется два средства удерживать народ в зависимости, страхе и повинении: более грубое — войско, более тонкое — школы. При помощи первого они привлекают на свою сторону честолюбие высших и силу низших слоев населения, насколько эти качества свойственны людям посредственным, или малодаровитым, при помощи же второго средства привлекается даровитая беднота, а именно духовно развитая и требовательная полубеднота средних сословий. Прежде всего правительства создают из всевозможных учителей себе как бы придворный штат, невольно обращающий свои взоры наверх; причем они нагромождают всевозможные препятствия развитию частной школы и особенно нелюбимого ими домашнего воспитания и обеспечивают за собою право располагать весьма значительным количеством учительских мест, на которые устремлено по меньшей мере в пять раз большее количество голодных взоров, полных подданнического выражения. Но эти места должны прокармливать своих заместителей лишь крайне скудно: этим в них поддерживается лихорадочная жажда повышения, которая заставляет еще теснее примыкать к правительственному направлению. Поддерживать легкое недовольство всегда выгоднее полного довольства, этой матери мужества и бабушки свободомыслия и гордости. При помощи этого сословия учителей, удерживаемого на узде как материально, так и духовно, происходит развитие образования страны до того уровня, который полезен государству, притом в градациях, определенных сообразно его целям; и прежде всего всем честолюбивым умам всех сословий почти незаметно прививается убеждение, что общественных отличий непосредственно достигает только направление, признанное и отмеченное государством. Влияние этой веры в правительственные испытания и в государственные титулы так велико, что даже люди, оставшиеся независимыми, возвысившиеся благодаря торговле и промышленности, носят в груди жало неудовлетворенности до тех пор, пока их положение не замечено и не признано свыше каким-нибудь назначением или орденом, пока они не окажутся «на виду». Наконец, государство связывает сотни и тысячи подчиненных ему чиновнических должностей и доходных мест с обязательством получить образование и диплом государственной школы; почет в обществе, хлеб насущный для себя, возможность обзавестись семьей, покровительство людей, власть имущих, общность идей со всеми получившими то же образование, — все это образует ту сеть надежд, в которую попадает каждый юноша; и откуда в самом деле может у него явиться недоверие? Если обязанность служить несколько лет солдатом становится в течение нескольких поколений бессознательной привычкой и предпосылкой, с которой заранее считается каждый, строя план своей жизни, то государство может смело решиться на мастерский прием, — связать выгодами школу и армию, дарования, честолюбие и силу, т. е. привлекать в армию путем привилегий людей наиболее даровитых и образованных и внушать им дух солдатчины и радостного повиновения, так чтобы находились всегда желающие закабалить себя в военную службу на более продолжительные сроки и придающие ей своими дарованиями еще более блестящую славу. После этого нужны только предлоги для крупных войн, но об этом уже заботятся с соблюдением полной невинности дипломаты совместно с биржею и газетами, потому что у такого народа всегда во время войны совесть чиста; ее нечего уже готовить.

321

Пресса. — Если сообразить, насколько незаметно и скрытно проскальзывают и теперь великие политические события на сцену всемирной истории, насколько они заслоняются незначительными событиями и кажутся ничтожными вблизи, как поздно сказываются глубокие последствия их появления, заставляющие содрогаться самую почву, если, повторяю, сообразить все это, то какое значение можно придавать современной прессе, с ее ежедневной ложью и оглушающим, возбуждающим, устрашающим криком? Разве она не постоянная слепая шумиха, увлекающая мысль и слух на ложный путь?

322

После великого события. — Народ или человек, душа которого сказалась при каком-нибудь великом событии, чувствует обыкновенно после этого потребность в шалости, или грубости, не столько из стыда, сколько ради отдыха.

323

Стать хорошим немцем значит разнемечиться. — То, в чем видят обыкновенно национальные различия, является в гораздо большей степени, чем это признается теперь, лишь различием разнообразных культурных уровней и только в ничтожной степени чем-то неизменным (да и то не в строгом смысле). Поэтому аргументы, опирающиеся на различия национальных характеров, совершенно необязательны для того, кто работает над переделкой убеждений, т. е. над культурой. Стоит только припомнить, например, какие качества не считались раньше свойством немцев, чтобы тотчас же заменить теоретический вопрос «что такое немец?» — вопросом «что такое немец теперь?» — и каждый порядочный немец должен разрешить этот вопрос, очистив себя именно от немецких качеств. Когда народ прогрессирует и растет, то пояс, сдавливающий его национальную внешность, лопается. Если же он застывает и приходит в упадок, то вокруг его души образуется новый пояс, который становится все тверже и образует вокруг как бы тюрьму, стены которой растут все выше. Если в народе много прочного, то это значит, что он хочет окаменеть и превратиться в монумент: как это было с Египтом, начиная с определенной эпохи. И тот, кто расположен к немцам, должен с удовольствием следить за тем, как они постоянно перерастают свои немецкие черты. Склонность к не немецкому была вследствие этого всегда признаком присутствия здоровых элементов.

324

Мнения иностранца. — Один иностранец, путешествовавший по Германии, возбуждал своими замечаниями то удовольствие, то неудовольствие, смотря по тому, где он их высказывал. Он говорил обыкновенно, что умные швабы всегда бывают кокетливы. Другие же швабы все еще думают, что Уланд был поэт, а Гёте безнравственный человек. Лучшее в знаменитых немецких романах нового времени, по его мнению, то, что их не надо читать: так как их знаешь наперед. Берлинец, кажется, добродушнее южанина, потому что он так любит шутки, что легко переносит даже шутки над собою, чего не случается с южанами. Ум немцев задерживается на довольно низкой ступени их пивом и газетами; он рекомендовал чай и памфлеты, разумеется, в качестве врачебных средств. Он советовал обратить внимание на то, как народы стареющей Европы отражают особенно ясно различные свойства старости, к великому удовольствию зрителей этой большей арены; французы отражают ум и любезность старости, англичане опытность и сдержанность, итальянцы настолько счастливы, что на их долю досталась невинность и непринужденность. Но разве других масок старости нет? Где старик властолюбивый? надменный? жадный? Самые опасные страны в Германии, это, по его мнению, Саксония и Тюрингия; нигде нет столько умственной подвижности и знания людей вместе с свободомыслием, но все скромно скрыто отвратительным говором и ревностною услужливостью населения, так что и не замечаешь, что имеешь дело с духовными фельдфебелями немцев и их учителями в добром и злом. Надменность северных немцев сдерживается их склонностью к повиновению, а у южных она умеряется стремлением к спокойствию. Этому иностранцу казалось, что немцы имеют в лице своих жен неискусных, но очень самоуверенных хозяек; они говорили о себе так много хорошего, что убедили чуть не весь мир, а во всяком случае своих мужей, в особенных хозяйственных добродетелях, присущих немецким женщинам. Если разговор обращался к внутренней и внешней политике Германии, то он имел обыкновение рассказывать, или, как он говорил: выдавать, — что величайший государственный человек Германии не верит в великих государственных людей. Будущее немцев он находил и опасным и грозным, потому что они разучились радоваться (к чему так способны итальянцы), зато привыкли к возбуждению, благодаря азартной игре в войны и династические революции, а потому непременно устроят в один прекрасный день возмущение. Это ведь самое сильное возбуждение, какое может доставить себе народ. Немецкий социалист опаснее других именно потому, что его не побуждает никакая определенная нужда; его страдания происходят от незнания того, чего он собственно хочет; и если бы он достиг даже очень многого, то не перестал бы улаживать себя требованиями большего, совершенно так же, как Фауст, но только, конечно, как



очень демократический Фауст. Черт, сидевший в Фаусте, восклицал он в конце концов, который так мучил образованных немцев, изгнан из них князем Бисмарком; но теперь черт перешел в свиней и стал опаснее, чем когда-либо прежде.

325

Мнения. — Большинство людей — ничтожество и ничего не стоят, пока не прикрываются распространенными убеждениями и общественным мнением, согласно философии портных: платье делает человека. Но о людях исключительных можно сказать: «только надевший делает одежду»; тут мнения перестают быть общими и становятся чем-то большим, чем масла, косметики и переодевания.

326

Два рода трезвости. — Чтобы отличить трезвость, порождаемую переутомлением духа, от той, которая является вследствие умеренности, нужно обратить внимание, что первая уныла, а вторая радостна.

327

Фальсификация радости. — Не признавать ничего хорошим ни одним днем позднее, чем мы его действительно находим, а главное ни одним днем раньше, — есть единственное средство обладать настоящей радостью. Иначе эта радость легко становится пресной и гнилой на вкус, и в настоящее время для целых громадных слоев населения она и является фальсифицированной пищей.

328

Козел добродетели. — Когда человек сделает что-нибудь замечательно хорошее, то его доброжелатели, недоросшие до понимания его поступка, торопливо ищут козла, чтобы убить его, думая, что это козел отпущения, — но это козел добродетели.

329

Верховенство. — Читть даже дурное и высказываться в его пользу, если оно нам нравится, не понимая, как можно стыдиться этого, — есть признак верховенства в великом и малом.

330

Деятель — призрак, а не действительность. — Человек, имеющий известное значение, узнает постепенно, что поскольку он действует, он становится призраком в головах людей, и, быть может, впадает в острую душевную муку, задавая себе вопрос, не должен ли он ради блага людей поддерживать свою призрачность.

331

Брать и давать. — Если вы отнимете или перехватите у человека что-нибудь даже самое ничтожное, то он будет слеп к тому, что вы дали ему гораздо большее, даже самое большое.

332

Хорошее поле. — Всякое отрицание и отчуждение показывает недостаток плодородия; собственно говоря, если бы мы были хорошим полем, то ничего не пропускали бы без пользы для себя и видели бы во всякой вещи, во всяком событии и во всяком человеке желанное удобрение, дождь или солнечный свет.

333

Общение с людьми как наслаждение. — Если кто-нибудь, исполнившись духом отречения от мира, добровольно отказывается от общения с людьми, то редко повторяющееся общение может стать для него настоящим лакомством.

334

Умение открыто страдать. — Надо афишировать свое несчастье, от времени до времени вздыхать вслух, видимо

выражать свое нетерпение, потому что если люди заметят, что человек уверен в себе и счастлив, несмотря на страдания и лишения, то преисполнятся зависти и злобы! Между тем, мы должны заботиться о том, чтобы не делать наших ближних худшими; к тому же они обложили бы нас тяжелой данью; а наше открытое страдание есть наша частная привилегия.

335

Теплота на высотах. — На высотах теплее, чем думают люди, находящиеся в долинах, и именно зимою. Мыслитель знает, на что указывает это сравнение.

336

Надо доброе желать, а прекрасное — мочь. — Недостаточно делать добро, надо желать его и, по слову поэта, достичь того, чтобы божество руководило нашей волей. Но прекрасное надо не желать, а мочь; надо творить его в невинности и слепоте, и с полным наслаждением. Кто зажигает свой фонарь, чтобы найти совершенных людей, тот пусть запомнит следующий их признак: совершенные люди, всегда стремясь к добру, достигают прекрасного, сами того не замечая. Много хороших и благородных людей остаются, несмотря на их добрую волю и добрые дела, непривлекательными и даже отталкивающими благодаря недостатку в их душе инстинкта красоты; они отталкивают и вредят самой добродетели тем отвратительным одеянием, в которое их дурной вкус облакает ее.

337

Опасность аскетизма. — Надо опасаться строить свое существование на узком фундаменте слишком ограниченных потребностей, потому что, отказавшись от радостей, приносимых общественным положением, почетом, дружескими связями, наслаждениями, комфортом, искусством, можно оказаться вследствие такого аскетизма по соседству не с мудростью, а с отвержением к жизни.

338

Последнее мнение о мнениях. — Надо или скрывать свои мнения, или самому скрываться за ними. Кто поступает иначе, тот или не знает света, или принадлежит к ордену святого безрассудства.

339

«Gaudemus igitur». — Радость заключает в себе, очевидно, и такие силы, которые укрепляют и оздоравливают нравственную природу человека: чем иначе можно объяснить то обстоятельство, что когда наша душа покоится в солнечном блеске радости, всегда невольно хвалит себя, как хорошую или совершенствующуюся, и что при этом ее охватывает всегда блаженный трепет предчувствия совершенства?

340

Человеку, которого хвалят. — Знай, что пока тебя хвалят, ты еще не на своей дороге, а на дороге, угодной другим.

341

Любить учителя. — Ученик любит учителя иначе, чем мастер мастера.

342

Слишком прекрасное и человеческое. — «Природа слишком прекрасна для тебя, бедный смертный», — это чувствуется нередко, но раза два при глубоком созерцании всего человеческого, полноты его сил, нежности, сложности, я чуть не воскликнул с полным смирением: «но и человек слишком прекрасен для человека созерцающего!» и притом не только нравственный, а и любой человек.

343

Движимое имущество и недвижимая собственность. — К кому жизнь отнесется совершенно по-разбойнически и лишит столько почета, радостей, сторонников, здоровья и всякого рода имущества, сколько может, тот в конце концов находит, может быть, что стал богаче, чем прежде. Так как только теперь он узнал, что собственно

принадлежит ему и чего не может лишить его никакая разбойничья рука; таким образом из всех грабежей и замешательств человек может выйти как знатный крупный владелец.

344

Невольная идеализация. — Самое тягостное чувство испытывает человек, когда узнает, что его всегда считали за нечто лучшее, чем он есть на деле, потому что при этом ему приходится признать, что в нем, в его словах, жестах и выражениях лица, в его глазах или поступках есть ложь и обман и что это лживое столь же необходимый в нем элемент, как и его честность, но уничижающий воздействие и ценность последней.

345

Идеалист и лжец. — Нельзя допускать тиранической власти над собою даже со стороны прекраснейшей способности — способности идеализировать вещи; иначе, правда покинет вас в один прекрасный день, бросив в лицо злое замечание: «что у меня общего с тобою, лжец до глубины души!»

346

Быть дурно понятым. — Если тебя дурно понимают в целом, то устранить какое бы то ни было частное непонимание невозможно. Надо иметь это в виду, чтобы попусту не тратить сил на самозащиту.

347

Непьющий говорит. — «Пей себе вино, которое услаждало тебя в течение всей твоей жизни, что тебе за дело до того, что я должен пить одну воду? Разве вино и вода не родственные, не братские элементы, которые могут жить рядом без взаимных упреков».

248

Из страны людоедов. — В уединении человек грызет самого себя, в обществе его грызут многие. Выбирай.

349

Точка замерзания воли. — «Наступит, наконец, тот час, который окутает тебя золотым облаком отсутствия страданий, когда душа твоя станет наслаждаться собственным утомлением и в счастливой и терпеливой игре с собственным терпением будет подобна волнам озера, которые плещут у берега в спокойный летний день, отражая яркое вечернее небо, плещут и снова успокаиваются — без конца, без цели, без насыщения, без желания, радуясь переменам, приливам и отливам в биении пульса природы». Таковы чувства и речи больных людей; но когда они достигают этого часа, то, после непродолжительного наслаждения им» их охватывает скука. И эта скука и есть весенний ветер, от которого тает замерзшая воля: воля пробуждается, начинает шевелиться и порождает желание за желанием. Желание есть признак выздоровления или улучшения здоровья.

350

Отринутый идеал. — В исключительных случаях бывает, что человек достигает наивысшего развития, после того как отвергнет свой идеал: потому что идеал чересчур манил его вперед, так что на полдороге он каждый раз выбивался из сил и принужден был останавливаться.

351

Предательская склонность. — Заметьте, что если человека пленяет мысль, что только в любви спасение от всего более возвышенного, то это признак человека завистливого, но стремящегося в высь.

352

Счастье на лестнице. — Как остроумие некоторых людей не может поспеть за удобными случаями, так что удобный случай уже входит в дверь, а остроумия остается все еще на лестнице, так некоторые имеют такое же отстающее счастье: оно слишком медленно, чтобы поспевать за быстроногим временем; самое лучшее из всего пережитого в течение целого жизненного периода такие люди испытывают лишь гораздо позднее, часто в виде слабого, пряного аромата, возбуждающего чувство неудовлетворительности и грусти, которым, кажется, можно

было бы когда-нибудь досыта упиться; но теперь это уж слишком поздно.

353

Черви. — Существование в душе нескольких червей ничего не говорит в пользу ее зрелости.

354

Победоносная осанка. — Хорошая посадка на коне смиряет отвагу противника и сердце зрителя, — к чему же еще нападать? Сиди, как победитель.

355

Опасность в удивлении. — Чрезмерно удивляясь чужим добродетелям, можно лишиться понимания своих собственных, а по недостатке упражнения даже и самых добродетелей, не получив даже чужих взамен их.

356

Польза болезненности. — Кто часто болеет, не только гораздо интенсивнее испытывает счастье здоровья, так как ему часто приходится выздоравливать, но и лучше распознает здоровое и больное в своих собственных и в чужих произведениях и поступках: таковы, например, болезненные писатели (а к ним относятся, к сожалению, почти все великие); они выдерживают в своих сочинениях гораздо более уверенный и ровный здоровый тон, потому что лучше физически сильных людей понимают философию здоровья и выздоровления и таких учителей здоровья, какими являются: утро, солнечный свет, лес и воды потоки.

357

Измена — условие мастерства. — Тут ничего не поделаешь: у каждого мастера бывает только один настоящий ученик, и тот изменяет ему — потому что он сам предназначен стать мастером.

358

Никогда не напрасно. — Ты никогда не будешь напрасно карабкаться по крутизнам истины: или ты взберешься высоко уже сегодня, или упражнением укрепишь свои силы, чтобы тем выше подняться завтра.

359

О серых окнах. — Неужели то, что вам видно во вселенной через это окошко, так прекрасно, что вы не хотите выглянуть ни в какое другое окно, — и даже удерживаете других от такого опыта?

360

Признак сильных перемен. — Когда тебе начинают сниться люди давно забытые или почившие — то это признак того, что ты пережил сильный переворот и что почва, на которой ты живешь, вся взрыта: при этом мертвецы воскресают и стародавнее становится новым.

361

Лекарство для души. — Лежать тихо и ни о чем не думать — есть самое дешевое лекарство против всех душевных недугов, которое к тому же при добром желании становится с часу на час все приятнее.

362

Традиция душ. — Ты стоишь гораздо ниже его, — ты стараешься установить исключения, а он правила.

363

Фаталист. — Ты должен верить в фатум, к этому может принудить тебя наука. Что вырастет у тебя из этой веры: трусость, смирение, величие или свобода — будет зависеть от той почвы, какую встретит в тебе это семя, а не от семени, потому что из него может вырасти все что угодно.

364

Частое основание досады. — Кто предпочитает в жизни красивое полезному, испортит себе желудок, как дитя, предпочитающее пирожные хлебу, и начнет с досадою смотреть на весь мир.

365

Чрезмерность как целебное средство. — Можно сделать свое дарование для себя вновь приятным путем чрезмерного удивления противоположному дарованию и наслаждения его плодами. Употреблять чрезмерность как целебное средство есть один из самых тонких приемов искусства жить.

366

Желай самобытности. — Характеры деятельные и имеющие успех поступают не по правилу: «познай самого себя», а как будто бы подчиняясь велению: «стремись к самобытности — и ты будешь самым собою». Кажется, будто судьба всегда предоставляет им выбор; тогда как характеры пассивные и созерцательные вечно раздумывают о том выборе, который сделали, вступая в жизнь.

367

Жить по возможности без сторонников. — Как мало значат сторонники понимаешь только тогда, когда перестаешь быть сторонником своих сторонников.

368

Затемнять себя. — Нужно уметь затемнять себя, чтобы избегать стаи мошек — т. е. навязчивых поклонников.

369

Скука. — Существует скука самых тонко организованных и образованных голов, для которых стало пресным даже все лучшее на земле: привычка переходить от изысканных блюд к еще более изысканным и с отвращением относиться к более грубым им грозит опасностью умереть с голоду, потому что самое лучшее очень редко бывает доступно или до того черство, что его не в силах раскусить даже и хорошие зубы.

370

Опасность, заключающаяся в удивлении. — Удивление перед каким-нибудь качеством или искусством может быть так велико, что может удерживать нас от их приобретения.

371

Чего хотят от искусства. — Одни хотят через посредство искусства радоваться своему бытию; другие хотят на время убежать от него, выйти из него. Сообразно обеим потребностям существует два рода искусства и два рода художников.

372

Отпадение. — Кто отпадает от нас, не всегда этим оскорбляет нас, но зато всегда оскорбляет наших приверженцев.

373

После смерти. — Обыкновенно много времени спустя после смерти человека мы находим, что его нам не хватает; с великими людьми это часто бывает только по прошествии десятилетий. Искренний человек обыкновенно в случае чьей-нибудь смерти думает, что потеря не так велика и что надгробный оратор — лицемер. Только нужда показывает нам, насколько человек был нужен, и истинной эпитафией является поздний вздох.

374

Оставлять в Гадесе. — Многие вещи нужно оставлять в Гадесе полусознательного чувства и не извлекать из призрачного их существования, иначе, превратившись в мысль и слово, они становятся нашими демонскими властелинами и свирепо требуют нашей крови.

375

Близость нищенства. — Иногда самый богатый ум теряет ключ от комнаты, в которой покоятся все накопленные им сокровища, и тогда он, чтобы только жить, подобно последнему бедняку, принужден просить милостыню.

376

Связно мыслить. — Человеку, который много думал, каждая новая мысль, которую он слышит или читает, сразу представляется в виде цепи.

377

Сострадание. — В позолоченных ножнах сострадания скрывается иногда кинжал зависти.

378

Что такое гений? — Жажда возвышенной цели и средств для ее достижения.

379

Тщеславие борцов. — Кто не имеет надежды победить в борьбе или явно оказывается слабее, тот тем более хочет удивить своим способом борьбы.

380

Философская жизнь, дурно истолкованная. — В тот момент, когда кто-нибудь начинает серьезно относиться к философии, все думают о нем как раз обратное.

381

Подражание. — Подражание увеличивает престиж дурного и уменьшает престиж хорошего, особенно в области искусства.

382

Последнее поучение истории. — «Ах, если бы я жил в те времена!» — вот отзыв людей неразумных и легкомысленных. Гораздо правильнее было бы при серьезном рассмотрении каждой исторической эпохи, будь то самая хваленая область прошедшего, воскликнуть в конце концов: «Только бы не туда назад! Дух того времени тяготил бы на тебе сотнями атмосфер, ты не мог бы наслаждаться его хорошими и приглядными сторонами, не мог бы переварить дурных сторон». Конечно, наши потомки скажут то же и о нашем времени: т. е. что оно ужасно, что жизнь его невыносима. И однако каждый из нас выносит ее? Да, но потому, что дух времени не только царит вокруг нас, но и живет в нас. Дух времени сам себе сопротивляется, сам себя выносит.

383

Величие как маска. — Относясь величественно, мы раздражаем наших противников; завистливость, напротив того, примиряет их с нами, ведь зависть приравняет людей, ставит их на одинаковую высоту; зависть — это произвольный, но кричащий род скромности. Неужели и люди независтливые притворно прибегают иногда, ради упомянутых выгод, к зависти? Вероятно. И несомненно, что люди честолюбивые стараются замаскировать свою зависть величественным отношением; они согласятся скорей терпеть неприятности, вызывать недовольство врагов, чем поставить себя на одну доску с врагами.

384

Непростительное. — Ты дал ему возможность выказать величие характера, но он не воспользовался этой возможностью. Этого он никогда не простит тебе.

385

Противоположные положения. — Самое старое суждение о людях выражено в следующем знаменитом изречении: «я — всегда ненавистно», самое же детское суждение выражено в следующем еще более знаменитом изречении: «люби ближнего своего, как самого себя». В первом изречении видно, что прекратилось познание человека, во втором — оно еще и не начиналось.

386

Недостаток в слухе. — «Человек принадлежит к толпе, пока сваливает вину на других; он на пути к мудрости, когда считает только себя ответственным; мудрец же не считает виновным ни себя, ни других». Кто сказал это? Эпиктет за восемнадцать столетий до нашего времени. Люди слышали это, но забыли. Нет, они не слышали и не забыли: не всякая вещь забывается. Но у них не было для этого слуха, слуха Эпиктета. Значит, Эпиктет сказал это на ухо самому себе? Конечно, ведь мудрость — это разговор одинокого с самим собою на многолюдном базаре.

387

Недостаток в точке зрения, а не в зрении. — Человек стоит всегда на несколько шагов слишком далеко от ближнего. Оттого-то и происходит то, что человек судит так обще о своем ближнем, тогда как о себе он судит по случайным мелким чертам и поступкам.

388

Невежество в оружии. — Как легко узнать, сведущ ли человек по известному вопросу или нет — между тем как он, быть может, обливается кровью при одной мысли, что его сочтут за невежду. Да, бывают на свете отменные глупцы: с полным колчаном проклятий и приговоров выступают они, готовые поразить всякого, кто позволит себе заметить, что есть вопросы, в которых мнения их не заслуживают внимания.

389

За столом опыта. — Люди, по врожденной им скромности оставляющие свои стаканы наполовину недопитыми, не желают понять, что всякая вещь в мире имеет свой осадок и гущу.

390

Певчие птицы. — Приверженцы великого человека обыкновенно ослепляют себя, чтобы лучше воспевать похвалу ему.

391

Недоросли. — Хорошее не нравится нам, если мы до него не доросли.

392

Правило, как мать или как дитя. — Состояния, создающие правила, отличаются от состояний, создаваемых правилами.

393

Комедия. — Мы нередко пожинаем любовь и уважение за такие дела и поступки, которые мы уже давно сбросили с себя, как змея свою кожу; в подобных случаях мы нередко впадаем в искушение сделаться комедиантами своего прошлого и снова накинуть на плечи старую шкуру, делая это не только из тщеславия, но и из благоволения к нашим почитателям.

394

Ошибка биографов. — Ту ничтожную силу, которая нужна, чтобы направить челнок в поток, не следует смешивать с силой самого потока, которая понесет челнок. Однако подобная ошибка встречается почти во всех биографиях.

395

Покутить недорого. — Вещью, купленную слишком дорого, мы и пользуемся обыкновенно не хорошо и не с любовью, так как с нею связано неприятное воспоминание; и, таким образом, мы несем двойной убыток.

396

Какой философии всегда недостает обществу. — Столбы общественного порядка покоятся на том, чтобы каждый на все, что он делает и к чему стремится, на свое здоровье или болезни, на свою бедность или благосостояние, на свою честь или ничтожество, смотрел бы радостно и при этом всегда сознавал, что «он не хотел бы ни с кем поменяться». Человек, желающий строить что-нибудь на фундаменте общественного порядка, должен внедрять в сердца эту философию отсутствия зависти и нежелания ни с кем меняться.

397

Признак величавой души. — Величавая душа — не та, которая способна к высшим полетам, а которая мало возвышается и мало опускается, но живет всегда в свободном, светлом воздухе высот.

398

Великое и созерцающий его. — Лучшее воздействие всего великого состоит в том, что оно придает взору больше величия и выпуклости.

399

Умение довольствоваться. — Требуемая зрелость ума выражается в том, что ум уже не стремится туда, где под колючим терновником познания растут редкие цветы; он довольствуется садом, лесом, лугом и полями, так как он понимает, что жизнь слишком коротка для всего редкого и необыкновенного.

400

Выгода от лишений. — Человек, наслаждающийся всегда сердечной полнотой и теплотой, привыкший к летнему воздуху души, не может представить себе того восторга, который охватывает холодную натуру, когда и ее, в виде исключения, коснутся лучи любви и теплое дуновение солнечного февральского дня.

401

Рецепт для страдания. — Тебе слишком тяжело бремя жизни? В таком случае ты должен еще сильнее увеличить бремя ее. Когда же, наконец, страдалец станет жаждать и искать потоков Леты, то нужно стать героем, чтобы действительно найти их.

402

Судья. — Человек, заглянувший в чей-нибудь идеал, становится его неумолимым судьей и злой совестью.

403

Польза крупных отречений. — В крупных отречениях самое полезное то, что они делают нас гордыми храбрецами, для которых ничего не стоят мелкие отречения.

404

Каким образом можно придать блеск долгу. — «Делай больше, чем обещаешь» — это лучшее средство позолотить свой медный долг в глазах каждого.

405



Молитва к людям. — «Простите нам наши добродетели», так надо молиться людям.

406

Создающие и пользующиеся. — Каждый пользующийся думает, что дереву всего важнее его плоды, тогда как дереву важнее всего его семена. В этом — разница между создающими и пользующимися.

407

Слава всех великих. — Самое важное в гении — это его способность наделять своих поклонников и почитателей такой свободой и высотой чувств, при которых они не нуждаются более в гении! Делать себя излишними — в этом слава всех великих.

408

Поездка в ад. — И я был в подземном царстве, как Одиссей, и стану бывать там; чтобы побеседовать с некоторыми из мертвых, я не только принес в жертву барана, но и не пожалел собственной крови. Четыре пары не отказались от меня: Эпикур и Монтень, Гете и Спиноза, Платон и Руссо, Паскаль и Шопенгауэр. Долго блуждал я один, и потому мне нужно столкнуться с ними; пусть они отнесутся ко мне снисходительно или строго, их буду я слушать, даже если они сами осуждают друг друга. Что бы я ни говорил, какие бы ни делал заключения, чтобы ни сочинял для себя и для других, мои взоры всегда устремлены на меня. Пусть живые простят мне, но они иногда кажутся мне теньями, такими бледными и отвратительными, такими беспокойными и такими — увы! — жадными до жизни; тогда как те кажутся мне такими живыми, словно после смерти они как бы навсегда утратили усталость жизни! Здесь имеет значение вечная жизненность, т. е. то, что важно в «вечной жизни» и вообще в жизни.